

МАКСИМ КАНТОР



УЧЕБНИК РИСОВАНИЯ
ТОМ 1



Философия живописи

Максим Кантор

Учебник рисования. Том 1

«Издательство АСТ»

2013

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Кантор М. К.

Учебник рисования. Том 1 / М. К. Кантор — «Издательство АСТ», 2013 — (Философия живописи)

ISBN 978-5-17-145106-6

Роман «Учебник рисования» сразу после выхода в свет стал предметом яростной полемики. Одних роман оскорбил, другие увидели в нем книгу, которую давно ожидали — анализ того, что произошло с нашей страной. Книгу называли «великим русским романом» («Коммерсантъ»), «средневековым собором» («Афиша»), сравнили с «Войной и миром», «Зияющими высотами», «Доктором Живаго» («Таймс»). Автор рассказывает о переходе общества от утопии к рынку, от социализма к капитализму, описывает поражение интеллигенции и торжество авангарда. Благодаря обилию сюжетных линий, а также философских и исторических экскурсов, роман «Учебник рисования» можно считать энциклопедией нашей жизни.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-145106-6

© Кантор М. К., 2013
© Издательство АСТ, 2013

Содержание

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Посвящение | 6 |
| Часть первая | 7 |
| Глава 1 | 8 |
| Глава 2 | 29 |
| Глава 3 | 43 |
| Глава 4 | 63 |
| Глава 5 | 70 |
| Глава 6 | 88 |
| Глава 7 | 112 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 120 |

Максим Кантор

Учебник рисования. Том 1

© Максим Кантор, 2013

© ООО «Издательство АСТ», 2022

* * *

Посвящение

Этот роман я начал писать двадцать два года назад, в 2000 году. Первое издание состоялось в 2006 году.

Роман описывает события тех лет, развитие и результаты которых мы наблюдаем сегодня. Ни в оценках, ни в прогнозах я не ошибся.

В романе есть исторические персонажи, есть герои с прототипами, есть характеры, напоминающие членов моей семьи. Много придумано: это роман, а не фотография. Хотя функцию хроники тех определяющих лет книга выполняет.

Колебался, вносить ли правку. Всегда можно сказать лучше.

Решил ничего не менять. Книга описывает переломный момент жизни большой страны и, как теперь понятно, – мира.

Развал одной шестой части мира неизбежно привел к фатальным изменениям. Тогда требовалась смелость, чтобы в общей эйфории разглядеть беду. Все началось (так я думал двадцать лет назад, так думаю и теперь) с изменения эстетического кода эпохи. Когда меняется эстетика, неизбежно меняется мораль общества и формулет историю сообразно новому пониманию этики и долга.

Роман не сводит счеты с эпохой. И, тем более, с конкретными людьми. В книге много сарказма, но главное в ней – любовь. Моя любовь к брату, отцу, матери, первой жене – Екатерине, людям, чьей мудрости и благородству я обязан бесконечно, – и составляют главное в книге. В конце концов, это роман о любви в ту эпоху, когда моральные ценности отменили.

Когда писал роман, познакомился с будущей женой Дарьей. Она была первым читателем, ей давал главы, одну за другой.

Спустя годы, когда выходит пятое издание, решил, что логично посвятить роман Дарье. Тогда этого не сделал, исправляю ошибку.

Часть первая

1

Подобно тому как стойка фехтовальщика – первое, чему учат в фехтовальном зале, так и стойка живописца – первое, чему должен научиться художник.

Кисть – шпага. Надо держать ее так же, как держат эфес шпаги, то есть не слишком сжимая, но уверенно. Черенок твердо уперт в центр ладони, пальцы легко поддерживают кисть – рука с кистью должна слиться воедино. Рисуют не кистью – но всей рукой, рука двигается, подчиняясь замыслу: надо однажды понять это. Во время рисования про руку с кистью не думают – рука сделает то, что нужно, если решение верное. Вооруженный кистью и палитрой художник похож на воина с мечом и щитом. Палитра – щит, палитрой художник закрывает себя от внешнего мира. Палитра должна быть не слишком тяжелой, но достаточно большой, чтобы чувствовать ее вес на локте, чтобы кисти было где передохнуть. Про левую руку с палитрой художник помнит постоянно; его правая рука – атакующий авангард, она всегда рискует; левая рука – тыл, она обеспечивает победу. Те школы, которые считают возможным использовать стационарную палитру – на передвижном столике, например, – исключают с самого начала постановку шага живописца. Лишив ответственности свою левую руку, художник потеряет стойку. Лишив себя возвратного движения: из боевой позиции назад, кистью к палитре, и затем опять вперед, к холсту, – художник потеряет траекторию движения и постановку руки. В руке, поддерживающей палитру, живописец держит несколько запасных кистей. Я полагаю, не более четырех. Кисти располагаются в руке так, чтобы можно было их легко выхватить правой рукой, когда рабочая кисть придет в негодность. За время сеанса – а поединок с холстом длится от одного часа до шести, редко более продолжительные сеансы плодотворны – можно сменить до тридцати кистей.

Художник стоит, повернувшись правым боком к картине. Его правая нога несколько выставлена вперед, опирается он на левую. В ходе боя он передвигается по мастерской короткими шагами, начиная шаг с правой, передней ноги, и пододвигает к ней левую. Палитра всегда несколько отодвинута в сторону и немного назад. Это, с одной стороны, обеспечивает равновесие, с другой – определяет характер и амплитуду движения правой руки с кистью.

Рука с кистью – при правильной стойке – всякий раз возвращает кисть к палитре, точно шпагу в ножны. Следующее за тем движение – от палитры к холсту – должно напоминать выхватывание шпаги из ножен, за этим движением следует немедленный выпад. Чем меньше времени пройдет в промежутке между тем, как кисть выхвачена от палитры и переведена в атакующую позицию, тем лучше. В идеале эти два движения сливаются в одно затяжное и переходят в выпад плавно.

Выпад завершается хлещущим движением – мазком. В зависимости от длины и характера мазка меняется вся амплитуда движения руки с кистью: если мазок резкий и пастозный, движение будет широким и рубящим, если мазок короткий и прозрачный, движение будет плавным и выпад прямым.

При условии, что художник обучен правильной стойке и соблюдает правила ведения боя, его осанка всегда останется благородной и спина прямой. Если художник не обращает внимания на основные правила, ему будет трудно сохранить прямую спину.

Глава 1

Экспозиция

I

В тысяча девятьсот восемьдесят пятом году от Рождества Христова, на шестьдесят восьмом году Советской власти, в Москве случилось то, на что уже не надеялись. Гражданам разрешили сказать вслух все, что они привыкли произносить про себя, писателям – напечатать спрятанные рукописи, а художникам – выставить запрещенные картины. Зачем Советская власть надумала так поступить – не вполне ясно. Иные считали, что так случилось под давлением экономических обстоятельств, иные – что правительством принят план модернизации системы власти, иные – что вышел срок и империя умирает, а значит, уже все равно, что и как делать. Впоследствии эти причины, несмотря на то, что одна противоречит другой, подтвердились решительно все и даже добавились некоторые новые, и, явив руинами доказательство всех причин разом, рассыпалась в прах сама Российская империя, однако в восемьдесят пятом году причинами не интересовались. Ясно было одно: режим вдруг ослаб, и послабления режима произвели в обществе сильнейший эффект. Говорить все, что думаешь, – занятие пьянящее: в годы тирании трудно было представить, как шалеет рассудок от безнаказанности.

– Что движет вами, когда вы творите? – спрашивала, например, журналистка у новомодного автора, а тот, не задумываясь, бесстрашно выстреливал ответ: ненависть к режиму!

И печатали! И клеили газеты на тумбах! И прохожие кидались к свежотпечатанному листку, чтобы еще и еще раз, смакуя по букве, перечитать и передать другим, чтобы впустить в себя веселящий газ свободы и молодости.

Восемьдесят пятый был веселый год, люди почувствовали, что у них есть задор жить. Не умерла Россия, не сгнила под гнетом большевизма! Думали, заснула навсегда? Ан нет, восстала из мерзости – и живехонька! Смотрите, сколько талантов отсиделось по кухням и чердакам! Вот они – глядите, уцелели! Вот они – смотрите, как лихо шагают! Вот подождите, сейчас они такое скажут! Потерпите, они вам такое покажут – ахнете! «Вы могли представить себе, – спрашивал старый профессор Рихтер своего товарища профессора Татарникова, – что мы доживем до этих дней?» И профессор Татарников мотал головою, подтверждая, что нет, не мог, нет, не представлял. И если столь образованные мужи не могли вообразить, какие коленца выкинет история в неистовом своем танце, – то что уж говорить о рядовых гражданах, не столь прозорливых? С трепетом и надеждой таращились они в распахнутые перед ними горизонты и ждали, что же скажут те избранные, коим нынче разрешено говорить.

II

Толпа собралась возле музея, где обещали показать опальное искусство.

Двери открылись – и люди повалили в зал. Сделалось тесно и шумно. Лица мелькают, и – значительные лица, в этих лицах читается будущее страны, содержится проект свершений.

Вот стоит тот, кого прочтут в новые министры культуры, – он еще молодой человек, он полон сил, он возродит искусство в этой казарменной стране. Посмотрите на него пристальнее, подойдите ближе. Кто же, если не он? И когда же, если не теперь? С черной бородой, с горящими глазами и напряженным лицом, он выделяется даже из этой толпы избранных. Павел сразу же вспомнил, как мальчишкой видел этого красивого человека в церкви Ильи Обыденного на Остоженке – красавец стоял прямо перед алтарем, прямой и страстный, и широко кре-

стился, а его спутница глядела на красавца с той же истовостью, с какой тот глядел на иконостас. Тогда тетка Павла (это она привела его на всенощную, сам Павел был неверующий, стеснялся этого в компании недавно крестившихся друзей) прошептала ему на ухо: «Видишь того, с черной бородой? Самый красивый мужчина в Москве». – «Он кто?» – «Лучший искусствовед России. Совесть этой страны. Леонид Голенищев – славная фамилия, историческая». И Павел запомнил это лицо, запомнил того, кого прочили в спасители России. Ах, значит, не ошиблись они тогда в своих упованиях! Вот подошло время, и он явился победителем и всех теперь спасет. Здесь, на выставке, Леонид сохранял такое же торжественное выражение, как и тогда в церкви. Люди, окружавшие его, смотрели на Леонида с почтительной преданностью. Его любят и ценят, подумал Павел, да и как такого не любить. Особенно сегодня, в день его победы.

Он некоторое время наблюдал за чернобородым Леонидом, за тем, как тот обнимал за плечи соратников, целовал – дружески и троекратно – красивых женщин. Было очевидно, что гости ищут общества Леонида: мужчины нарочно старались попасться у него на пути, а дружески поцелованные женщины долго льнули к щеке и, расставшись, смотрели вслед красавцу. А что тут удивительного, спросил себя Павел, таких ведь, как Леонид, поискать. И он стал искать среди толпы равных Леониду и нашел иных героев. И как их было не заметить. Подобное собрание удивительных лиц встречается разве что в итальянских сюжетах коронования Марии – святые и мученики плечом к плечу стоят у трона Мадонны, и каждый лик отмечен печатью жертвы и подвига. Некогда отец показывал Павлу репродукции картин эпохи Треченто, и, глядя на густую толпу святых, прижавшихся борода к бороде, Павел спрашивал: а это кто? Его побили камнями за веру, да? А вот того, с седой бородой, распяли кверху ногами? А этот чем знаменит? И сегодня Павел переводил глаза с одного на другого, и волнение охватило его, точно он рассматривал альбом искусства Ренессанса. Впрочем, чувство было еще более острым: точно сам он оказался внутри этого альбома, внутри книги – ибо такие явления случаются лишь в романах, а вот сегодня – в жизни.

Прежде он лишь в книгах читал о таких событиях, когда достойные восхищения герои собираются вместе, произносят клятвы, идут на бой, но то было в книгах. Можно было прочесть истории о дворе Лоренцо Великолепного, воспоминания о парижской школе начала века, о посиделках в кафе, когда за рюмкой абсента решалась судьба искусства. Во рту перекатывалось слово «Монмартр», и сознание того, что от простых фраз, сказанных простыми людьми, менялась история, наполняло сердце гордостью, но и ревностью тоже. Чем же мы хуже? Отчего именно наша судьба такая убогая? Ведь и здесь, в социалистической России, есть отверженные таланты, есть эти замотанные в шарфы люди, пьющие утром желудевый кофе, прежде чем встать к мольберту. Он знал, как и все знали, что есть в Москве подпольные художники, есть спрятанные в подвалы мастерские, есть те, за кем охотится власть. Есть то, чего, возможно, нигде в мире более не сыскать, – есть российская интеллигенция. Нет, они не просто работники умственного труда, как в прочих странах, – они те, кто готовы сложить головы за свои убеждения, те, кто без рассуждений идет на плаху, жертвует собой. Спору нет, и в других странах были подвижники, проводившие жизнь в кабинетах и мастерских. Но разве судьба была к кому-нибудь столь безжалостна, как к непризнанным российским художникам? Они по романтичности образа ничем не уступали импрессионистам, и больше того: за ними следили власти, их мастерские обыскивали, они скрывались, их спрятанная компания действительно была спрятана и недоступна чужим. Это, впрочем, совершенно соответствовало представлениям Павла об искусстве как занятии для секты избранных. В гостях у православной тетки Павел видел запрещенного художника Пинкисевича, тот был скуп на слова, значителен. Поговорить с ним, спросить об искусстве? Но что сказать? Вы рисуете запрещенные картины? Расскажите, как вы готовите палитру, встаете у холста, пробуете кистью краску. Расскажите, как вы проводите первую линию по белому, как хрустит грунт холста под мазком. Что может сказать начинаю-

щий художник усталому мастеру, взрослому человеку, у которого за плечами тяжкая жизнь? Пригласите меня в мастерскую, я буду вам достойным преемником, примите меня в свое тайное общество избранных. Как нелепо и смешно это бы прозвучало.

И вообразить нельзя было, что будет некогда день – и все они, гонимые и отверженные, выйдут плечом к плечу, и позволено будет стоять среди них, смотреть на их картины, радоваться их победе.

Совсем рядом с Павлом невысокий, в клетчатой рубашке навывпуск, в очках, криво сидящих на кривом лице, Захар Первачев, тот самый, который едва не подрался с Хрущевым на скандальной выставке времен «оттепели», тот самый, про которого Суслов, тогдашний идеолог партии, говорил, что Первачев-де «враг номер один», словом, тот самый Первачев разговаривал с лидером нового поколения – Семеном Струевым. Вокруг них группировались художники, чьи имена давно были всем известны: Стремовский, Дутов, Пинкисевич, Гузкин. Они говорили о западных галереях и контрактах – темах в ту пору новых. Подруги и жены художников, стоявшие более широким кругом, комментировали успех мужчин. Художники меж собой говорили так:

- Зовут в Нью-Йорк. Говорят, лучшая галерея.
- Галерея – это музей, да?
- Объясните Эдику, что такое галерея.
- Галерея – основа свободного искусства.
- Хозяин галереи продает что хочет?
- Независимый человек.
- Никому не подчинен?
- Абсолютно свободная личность.
- А деньги кто платит?
- Он и платит.
- Где ж он деньги берет? Вдруг – ворюга?
- Ты сошел с ума. Совесть свободного искусства?
- Может, он прохвост.
- Надо цены заранее обсудить. Чек получишь – а там на кальсоны не хватает.
- Есть у меня кальсоны.
- Я говорил, Гриша сколотит состояние.
- Без галереи – нельзя. Надо участвовать в смотрах мирового искусства.
- Надо почувствовать дух времени.
- А гарантии?
- Какие гарантии?
- Вдруг там обманут?
- Обманут здесь. Мне за картины здесь сроду не платили!
- Они еще отдадут нам долги, отдадут!
- Они еще вспомнят!
- Надо доказать, что мы правы!

Так говорили художники. А женщины их говорили так:

- Девочки, доллар падает. Рита, скажи Эдику, пусть берет только в фунтах.
- Ах, Клара, хоть задаром, но в музей.
- Я один раз в жизни увидеть хочу, как за картину платят деньги.
- Фергнуген, атташе немецкий, прислал Грише ящик баварского пива. Я удивилась,

а Гриша сказал, что он ему рисунок подарил.

- Пусть дарит сразу два, а ты проси шубу.

– Эдику не надо ничего, он любую вещь отдает задаром. Говорит: мне спокойнее, что картина сохранится, при обыске не порвут.

– А Гриша говорит: всякая работа должна что-то стоять.
– Это оттого, что вас не обыскивали ни разу, не знаете, что с картинами бывает.
– Как это не обыскивали? Мне гэбэшник супницу кузнецовскую раздавил – от прабабки наследство. Полез, гад, на верхнюю полку книжки трясти и коленом на буфет встал, аккурат в супницу. Со мной чуть инфаркт не случился, я думала, я его задую, гада.

– Все-таки не картина.

– Да она красивей будет иной картины. И вынесла, страдалница, сколько. Другие люди столько не вытерпели, сколько моя супница. В Харбин плавала, в Париже жила, перед войной в Ригу переехала – и вот гэбэшник ее натрое разломал. Коленом своим жирным.

– А как на выставках холсты бритвами резали? Это тебе не супница.

– Помните, помните, как гэбэшники холсты резали?

– Если не шубами, так золотом, девочки, берите. Золото в доме не помешает.

Струев с Первачевым стояли поодаль от остальных и говорили друг с другом негромко, короткими фразами.

– Они спрятались и ждут, – сказал Первачев, – как тогда, в «оттепель».

– Зачем им прятаться? Просто наблюдают, сидя на даче.

– Власть так просто не отдают.

– Ищут победителя, чтобы его сделать своим.

– Думаете?

– Знаю.

– Думаете, мы – победители?

– Поглядите вокруг, Захар.

Лидер нового поколения и лидер так называемых шестидесятников рука об руку шли по залу и оглядывали зал, а люди в толпе поворачивались, чтобы рассмотреть их лица.

И еще показали в толпе человека. Видите, видите его, говорили многие, это Виктор Маркин, диссидент. Никто толком не знал, что сделал Маркин, вроде бы хранил какие-то фонды, кажется, переписывался с Солженицыным, кажется, его вызывали на Лубянку, наверное, и сидел когда-то. Старый, тощий, с выпуклыми прозрачными глазами и седой бородой, прокуренной и порыжевшей у рта от никотина, Маркин брел через толпу, шаркая ногами, задрал голову вверх, привычным жестом заложив руки за спину, как на лагерном разводе. И подле него, шаг в шаг с ним, но не шаркая ногами, а плавно и свободно двигаясь, шла стриженная девушка с большими глазами, с гордой шеей. Девушка шла подле него и не стеснялась того, что идет со стариком, а гордилась им. Как принято было у московских девушек тех лет, одета она была в бурый лыжный свитер, застиранные штаны, и это лишь подчеркивало ее тонкую красоту.

И еще говорили: вон там, там, где картина Струева, посмотрите, кто пришел. Кто там, кто же там такой? Но ничего было не разглядеть за спинами и затылками. Солженицын? Неужели Солженицын? Ну, конечно, он! Нет, не он, но он тоже придет, подождите.

Наконец-то это произошло, наконец совершилось то, чего все эти люди ждали годами, сегодня вдруг случилось это – рухнула стена, отгораживающая их от мира. Вдруг сделалось возможно то, о чем они мечтали и говорили долгие десятилетия, за что их отцы и старшие товарищи рисковали свободой.

Сегодня собрались те, кого принято было считать цветом интеллигенции, совестью России. Все они, насидевшиеся по углам, наговорившиеся по кухням, настрадавшиеся в очередях, измученные молчанием и трусостью, затаившие в себе обиды, все сегодня были здесь, чтобы разделить торжество художников-нонконформистов. Было время, в начале века, когда именно искусство стало авангардом истории. С тех пор всех смельчаков и новаторов называли авангардистами, и опальные художники сами тоже называли себя так. Бюрократы и партийные

чиновники произносили слово «авангард» боязливо и презрительно. «Ну эти, как их, авангардисты», – так говорили чиновники. Но сегодня стало ясно, что победил именно авангард.

III

Струев – его теперь окрестили отцом второго авангарда – громко просил сказать речь. Он крикнул через головы: «Мы думали, этот день наступит в пятьдесят шестом! Ждали тридцать лет! Хватит!»

Вперед вышел старый профессор Соломон Рихтер. Его помнили еще по временам хрущевской «оттепели», по его книге о Пикассо с предисловием Эренбурга. Он сказал так: «Вы все запомните этот день, и московская интеллигенция его запомнит, и русское искусство запомнит, и западный мир его запомнит тоже. Начинается новый отсчет времени. Недостаточно прожить сегодняшний день, требуется понять ему цену. Часто происходящее с нами лишь притворяется современностью. Подчас лишь кажется, что часы идут, а на самом деле они давно крутят время в другую сторону или стоят, и живешь в далеком прошлом, где-то на обочине времени, в канаве истории. Мы с вами хорошо знаем, как бывает, когда время стоит, не правда ли? Но бывают такие дни, которые открывают эпоху. День, когда двое представились друг другу в парижском кафе и один из них назвался Аполлинером, а другой Пикассо, изменил мир. Сегодня день такой же. Мы оставили позади себя безмерно растянувшиеся минуты фальши и пустоты. Пять минут назад мы вошли в пространство новой истории. Сверьте свои часы, чтобы не отстать». Он еще говорил, но все уже хлопали, смеялись и открывали шампанское. Женщина, стоявшая за спиной у Павла, спросила кого-то: «У тебя есть стакан?» Сквозь спины и локти было не видно, но слышалось, как булькает вино, как звякает стекло.

Павел подумал: это и правда исторический день, это и есть настоящий праздник. Ах, напрасно отказался отец пойти сюда. Он бы тоже гордился этим днем. Он будет жалеть потом, ведь подобного дня уже не вернуть. Кто-то крикнул «Ура!», но это прозвучало фальшиво. Праздник был настоящий, не похожий на Первое мая или Седьмое ноября, – и не нужно было его портить, делать таким, как прочие праздники. И вино казалось ненужным – сам воздух пьянил. И когда чернобородый Леонид, приподнявшись над толпой, крикнул чистым и звонким голосом: «К черту шампанское, об пол стаканы!» – это не показалось лишним. Да, правильно, так и надо было сделать в этот день. Смеясь, стали бить посуду и ходили, хрустя каблуками по стеклу. Носатый юноша сказал громко и весело: «Не стаканы, часы бейте! Время теперь – другое!» И тут же пара молодых людей сорвала с рук часы и швырнула об пол. А одна из жен художников, та, что требовала шубы и жалела супницы, под общий хохот кричала: «Бейте, небось, не швейцарские, бейте, гости дорогие, ремонтировать дороже!» И тут же к ней подлетел кто-то элегантный и гибкий, с подкрученными усами, с пробором. И тут же прошестел в толпе, что это и есть немецкий атташе Дитер Фергнюген, ценитель искусств. А тот уже вынимал из футляра и с поклоном вручал часы – вот так уж совпало: и швейцарские как раз, и с золотым браслетом. И неся над залом женский ликующий смех, и что-то продолжал говорить твердо и с пафосом старый Рихтер.

Съезжались гости – и какие гости! Вот опальный философ и запрещенный писатель, а вот поэт, чьи песни поет вся Москва, – и эти люди ходили по залам, узнаваемые, любимые. Но и не только местные, прибыли и друзья с Запада, те, о ком только читали, обрывками в разговорах слышали. Они приехали сегодня сюда, просвещенные, передовые, знаменитые, – приехали как к равным. Вот художник Дутов, бурый от волнения, провел по залам французского киноактера. Известный парижский комик радовался, что все его узнавали, подмигивал, строил забавные рожи. Вот, ведомый художником Гузкиным, прошел по залу мыслитель и эссеист Пайпс-Чимни, да-да, вы не ошиблись, тот самый Чарльз Пайпс-Чимни, автор исследования о России «Крест и топор» – исследования столь глубокого, что всякий мыслящий рус-

ский стремился укрепить свое мировоззрение его чтением. Прищурившись, оглядывал Пайпс-Чимни публику, а московская публика в свою очередь следила за реакцией мыслителя – предвкушала, какие новые страницы впишет эссеист в свой классический труд. От Пайпса ничто не скроется! Однажды он уже приезжал, в шестидесятых, и написал после визита книгу – так он и теперь что-нибудь судьбоносное напишет! Ох и достанется же кому-то на орехи! Беспощадное перо, воистину беспощадное! Вот, суется и смеясь, художник Осип Стремовский поспешил к входным дверям: приехал из Швейцарии драматург Дюренматт. Вошел, застыл на пороге, оглядываясь по сторонам, присматриваясь к картинам, к гостям. Полный, гладкий, в круглых очках, он стоял словно мера вещей, словно отлитый в Цюрихе эталон интеллекта, и рядом с ним можно было проверить себя. Подле него тут же собрались столичные говоруны, готовые вступить в беседу. Дюренматт стоял перед картиной Струева, вернее, перед чистым холстом, на котором было написано: «Где Катя? Ее нет. Где Максим? Его нет. Где Лена? Ее нет. Может быть, и не было никого?» – «Это лучший групповой портрет, который я видел, – сказал Дюренматт, – невидимое присутствие. Точнее, присутствие невидимого». – «Вы говорите так, оттого что не знакомы с нашими пятилетними планами, с нашим государственным бюджетом», – сказали ему. Певец абсурда и мастер гротеска улыбнулся. «Ваша экономика – произведение авангардного искусства. Но только ваш бюджет – это не групповой портрет, – заметил он, – это батальное полотно, морское сражение». Беседа развивалась правильно: от смешного – к серьезному, потом – к делам. Дела обсуждались сегодня стремительно, двумя словами намечались планы. Семен Струев, человек опытный, переходил от группы к группе: постоял с художниками, постоял с Дюренматтом, пошел к другим иностранцам.

Были и другие иностранные гости, и попроще, и починовнее, на любой вкус и разных калибров. Вот послы, вот советники по делам культуры, вот корреспонденты. Было время – за знакомство с ними могли арестовать, прогнать с работы. Но настал день – и вот они стоят среди русских интеллигентов и открыто жмут им руки. Посол Германии Ганс фон Шмальц стоял об руку с известным экономистом Владиславом Тушинским, автором статьи в «Известиях» «Как нам изменить Россию в 500 дней». Статья наделала шуму, Тушинского звали теперь повсюду, он сделался знаменит в Москве и сегодня был таким же героем вечера, как и художники, как и диссиденты. Владислав Тушинский, мужчина с рыхлым телом и нездоровым мучнистым лицом, краем глаза смотрел на картины, на собрание, на посла Германии, но мысли его были заняты совсем другим. Чувствовалось, что он никогда не расслабляется и продолжает обдумывать устройство России даже сегодня. Фон Шмальц говорил ему что-то, показывал на холсты, а он отвечал нехотя и редко поворачивался посмотреть.

А гости продолжали прибывать. Посол Австрии прошел через зал и остановился возле Маркина. Они обнялись, а потом седобородый Маркин представил свою стриженую спутницу, и Павел увидел, как посол склоняется к ее руке.

Вот люди коммерческие, представлявшие аукционы, они смотрели на картины чуть внимательнее прочих посетителей, один из них даже трогал пальцем. Как сказала девушка за спиной Павла, «понятно ведь, что эти вещи через год-другой будут стоить миллионы». И ее спутник ответил: «Что ты, Лиза, гораздо раньше». Что ж удивляться тогда, что приехали галеристы и коммерсанты. Понятно, что не приехали бы, если бы дело того не стоило. Какое еще нужно доказательство значимости происходящего? А вот – ведь это же сам Ричард Рейли, да, тот, у которого самая большая коллекция Ворхола, это он приехал. Как, вы не знаете Рейли? Впрочем, близко никто его не знает, он новое лицо в просвещенной Москве. Но слышать-то слышали, наверняка ведь слышали? Что-то такое говорили про компанию «Бритиш Петролеум», в которой он не то директор, не то президент. А что такое «Бритиш Петролеум»? – спрашивали любопытные. Ну, компания такая капиталистическая, чего-то они там такое делают, петролят там что-то важное, богатый, одним словом, человек, не нашим оборванцам чета. Он и с королевой знаком, и в Кремль хаживает. Такие люди ведь дорожат своим временем. Если приехали

они – это совсем не случайность, это поворот в событиях. Сегодня действительно изменилась история, сегодня она пошла совсем по другому пути. Вот представители «Радио "Свобода"» и «Русской мысли». Разве вчера могли мы себе представить, что такое возможно: работники «Русской мысли» приехали в Москву и им не крутят руки. Ждали Ирину Иловайскую, главреда издания. Неужели приедет? – шелестела толпа. Как, Иловайская, та самая, которую, будь их воля, растерзали бы партийцы, разорвали бы прямо у трапа самолета? Нет, не сама, но ее правая рука – именитый колумнист Ефим Шухман, умница, звезда «Русской мысли», тот, что эмигрировал пятнадцать лет назад, – видите, прибыл и ходит не прячась. Вот, слышите? Это он разговаривает с диссидентом Маркиным, оба натерпелись от партийцев, им есть о чем поговорить.

Впрочем, вот и партийцы, они самые, и они тоже приехали, чтобы не отстать от жизни. То здесь, то там мелькнет знакомое по газетным фотографиям лицо, наблюдает, присматривается. «Ах, неужели ты думаешь, Лиза, что они не прислали сюда десятка полтора стукачей?» – «Ты полагаешь, что и сегодня? Вот сюда?» – «Конечно. Как можно быть такой наивной». И девушка Лиза захлопала серыми глазами: «Быть не может!»

Из бывших явились недавно еще гремевшие и грозившие, одно слово – фигуры: инструктор ЦК партии по идеологии Иван Михайлович Луговой по прозвищу Однорукий Двuruшник (руку он потерял на фронте) и замминистра культуры Герман Федорович Басманов. Оба в немнущихся черных тройках с широкими галстуками, набриолиненные, с тяжелыми лиловыми щеками. Луговой шел вдоль полотен под руку с супругой своей Алиной Багратион. Алина Багратион и сама по себе была дамой известной, не оставившей, как говорили люди осведомленные, ни одну постель в Москве несогретой. Басманов же дефилировал по залу с личным секретарем Славой, тихим юношей, тонким, белокурым. Оба сановника явились как частные лица и подчеркнули приватность, приведя с собой свои прекрасные половинки. То, что Багратион действительно в постели представляла собой нечто прекрасное и памятное, Иван Михайлович, как признанный знаток, засвидетельствовал однажды Басманову на даче в Переделкино за рюмкой армянского коньяка. А Басманов, даром, что в амурных баталиях представлял совсем иной род войск, выслушал с пониманием, шурясь, кивал. «Хоть и не на Багратионовых флешах сражаемся, а понимаем», – сказал Герман Федорович. Иван Михайлович даже позволил себе в тот вечер шутку, грубоватую, но позволительную бывалым мужчинам, а главное – снимающую пустые разногласия в половом вопросе. «Ах, – сказал он, пародируя восточный акцент, – малчик, дэвочка – какая, в жопу, разница?» И оба рассмеялись. Сегодня оба чиновника – пусть их отставка и была уже почти очевидна – люди со связями, деньгами и влиянием, шли по залу запросто и даже здоровались с некогда опальными художниками, хлопали по плечу. «Видишь, – говорил Басманов, останавливая знакомого Дутова, потрепав его по щеке, – вот и твое время пришло, Дутов, говорил же я тебе: подожди, не суетись, еще свое возьмешь. Теперь пользуйся. Не упusti момент». И некогда опальный художник позволял себя трепать по щеке, ему уже то было в радость, что сегодня они говорят с Германом Федоровичем не через стол в министерстве, а на равных. Он даже потрепал Басманова по плечу в ответ, жест в былые времена невозможный, и Басманов улыбнулся, сверкнул коронками.

Сегодняшний день поменял все. Сегодня те люди, которых гнали и преследовали, поняли, что победители – они.

Вот либерал Борис Кузин, автор сборника статей «Прорыв в цивилизацию», легендарного сборника, который чуть было не вышел в издательстве «Прогресс». Говорили, глухо и невнятно, что главный редактор «Прогресса», человек, в сущности, «свой» и порядочный, и даже крестный отец детей Кузина, будто бы сам в последний момент испугался последствий и отдал приказ пустить уже набранную книгу под нож. Будто бы приехал в ту злосчастную ночь главный редактор домой к Кузину, и сидели они с бутылкой водки до утра на шестиметровой кузинской кухне, и только под утро, пьяный и жалкий, главред рассказал, что он наделал.

«Борька, – сказал сегодня Семен Струев, обнимая Кузину, – если завтра они не начнут печатать "Прорыв", я сам, слышишь, от руки его перепишу и здесь развешу по стенам». Но Кузин лишь рассмеялся в ответ, прижимая Струева к груди и целуясь крест-накрест. «Еще третьего дня позвонили – и сказать тебе откуда? Из журнала "Коммунист"» – «Врешь!» – «Ей-богу. Только его переименовали. Он теперь называется "Актуальная мысль"». И тут оба они захохотали в голос, а новость передавали по залу, и зал гудел от хохота: «Актуальная мысль!», «Да нет, ты представь!», «Шакалы!».

И приехавший из Лондона специалист по буддизму Савелий Бештау, тот, кому строжайше запрещено печататься в России, рассказал, что его вызвали в Москву специальным письмом и здесь будут срочно издавать его собрание сочинений. «Мы виноваты, – сказали ему в издательстве. – Мы должны были это сделать тридцать лет назад. Чем мы можем загладить свою вину, Савелий Ашотович?» – «Ах, помилуйте, – ответил Бештау, – не стоит издавать мое собрание сочинений. Мне будет довольно того, что вы сожжете собрания сочинений Маркса и Ленина. Договорились? Считайте, что мы в расчете».

Бештау встал между экономистом Тушинским и немцем фон Шмальцем, а те в свою очередь подтащили поближе Струева и Кузину, и все обнялись за плечи, и фотограф Лев Горелов, огромный, лысый, с усами, закрученными под самые глаза, заорал с другого конца зала: вот так и стойте, не шевелитесь, снимаю для истории! «Придется нам украсить себя для истории», – галантно заметил фон Шмальц и, выхватив из толпы стриженую спутницу Маркина, поставил ее в центр группы. Та растерянно оглядывалась и протянула было руку позвать мужа, но Виктор Маркин отмахнулся: меня, мол, уже наснимали в свое время, и в фас, и в профиль.

Горелов, широкий и шумный, пошел сквозь толпу, толкаясь камерами и штативами, попутно целуясь со знакомыми. Как один человек может создать давку, непостижимо, однако он произвел волнение в зале, толпа подалась в стороны. Павла несколько раз повернуло в толпе и вынесло на фотографическую группу, прямо к стриженной девушке, теперь они оказались стоящими грудь с грудью, и Павел смутился. К тому же кто-то, кажется буддист Бештау, положил ему сзади руку на плечо и дружески сжал.

Дойдя до них, Горелов раскинул штатив, насадил на него камеру. «Хотите, скажу честно? – Горелов, известный фантазер, начинал всякую фразу с этой присловки. – Хотите – честно? Делаю кадр века. А ну-ка, посмотрели на меня!»

IV

И здесь случилось неожиданное. Партиец Луговой, прохаживающийся со своей женой Алиной Багратион вдоль холстов, вдруг изменил направление, прямо пошел к группе диссидентов и, выделив из прочих Струева, единственной своей рукой крепко его обнял за шею.

– Держись, – сказал он, – все хорошо, что вовремя. Теперь тебя поддержат.

И не успела группа отреагировать на вторжение, как Алина Багратион вслед за супругом вошла прямо в центр собрания и приняла стриженую девушку под локоть и зашептала ей на ухо, а Павла обняла за талию.

– Только что, прямо перед вернисажем, стало известно, – громко сообщил Луговой, так, чтобы слышали все, – Михаил Сергеевич Горбачев, наш генеральный секретарь, позвонил академику Сахарову.

Посол фон Шмальц при этих словах тонко улыбнулся, как человек информированный. Струев, циничный и выдавший виды, покривился, но прислушался. Бештау наклонил большую голову. Тушинский, бледное лицо которого выражало неприязнь, придвинулся ближе, готовясь сказать обидное о генеральном секретаре партии.

– Андрею Дмитриевичу Сахарову позвонил? В ссылку? – спросил Кузин.

– В город Горький? – уточнил Бештау.

– Именно. Горбачев так сказал: засиделись вы в Горьком, Андрей Дмитриевич. Возвращайтесь в Москву. Пора.

– Вот как? А Сахаров что?

– Что ответил академик, я не знаю, а Горбачев сказал: потерпите, дайте мне только маховик раскрутить, а дальше само пойдет, не остановишь процесс.

– Так и сказал? – спросил Кузин, подхватывая реплику; впрочем, та и рассчитана была на реакцию. – Горбачев сам позвонил? Маховик раскрутит? Настроен серьезно?

– Крайне серьезно.

– Они были знакомы?

– В том-то и дело, что нет. Для Горбачева это символический жест.

Стриженная девушка сказала негромко: «Маховик не крутят».

Луговой услышал ее реплику, послал улыбку в ответ.

– Маховик не крутят, верно. Но процесс идет.

– Какой же процесс он собирается запускать, – осведомился Бештау, – троцкистско-зиновьевский или бухаринский?

– Процесс реорганизации общества, – веско сказал Луговой.

– Процесс, вероятно, в духе Кафки, – заметил мучнистый Тушинский, – горбачево-кафкианский, так сказать, процесс. А ваше ведомство, простите, не знаю, как вас по батюшке, обеспечит успех. Правда?

– Вы по какому ведомству меня числите, Владислав Григорьевич?

– По лазоревопогонному. Вот вы имя-то мое откуда узнали?

– Кто же сегодня не знает Владислава Тушинского? Как нам изменить Россию в пятьсот дней! Блестящая мысль, Владислав Григорьевич, своевременная мысль, очень даже! Дерзко, неожиданно, ярко! Проект ваш на редкость популярен – не знать его невозможно. Мне Горбачев так сказал: просто, говорит, досадно, буквально мою собственную идею украл. Из рта, говорит, слово выхватил! Ну, думаю, говорит, не обидится Владислав Григорьевич, если мы с ним вместе над этой программой покумекаем.

– Не понял. – Тушинский действительно не понимал; небольшие глазки его раскрылись столь широко, как могли. Луговой глядел в них, не отводя взгляда, спокойно улыбался.

– Пора, пора, Владислав Григорьевич, менять Россию! Застоялась! Вот мы ее с вами и изменим.

– Иван Михайлович Луговой вчера назначен советником вашего нового генсека, – прокомментировал посол фон Шмальц, – полагаю, он осведомлен лучше других о его намерениях.

– А, Ганс Герхардович, – отреагировал на это Луговой, – тебя не увидел. За спинами прячешься. Как ты добрался тогда с дачи? Меня Алина изругала, что отпустил тебя в таком состоянии. Ты бы на себя посмотрел. Бурш, одно слово, бурш! Молодой Энгельс – в лучшие свои годы! Меня перепил! Алина поразилась. Ганс твой, она мне говорит, или спьяну госсекреты своей родины разболтает, или в столб врежется – и кто знает, что хуже? Столб электрический собьет, свет в поселке потухнет, скажут – капиталисты виноваты.

– Я, Иван Михайлович, выбрал третий вариант: завербовал русского шофера.

Принято говорить, что вернисаж не для того, чтобы смотреть картины, а чтобы встречаться с людьми. И здесь это подтвердилось в полной мере. Всего час назад Павел и думать не мог, что московская красавица Багратион будет обнимать его полной и гладкой рукой, а великий Бештау положит ладонь на плечо. Но еще того невероятнее было, что он стоит в группе людей, которая обсуждает последние реплики главы государства, сведения, доверенные лишь немногим. Обычно русские люди узнают о своей судьбе только тогда, когда их судьба уже бесповоротно совершилась и мнения их никто не спрашивает, – но сегодня все не так. Он только что услышал, как генеральный секретарь партии собирается улучшить жизнь в стране, которой управляет, мало того, генсек хочет в короткий срок изменить самое лицо этой страны, мало

того, генсек хочет, чтобы в этом деле ему помогали не войска и милиция, как раньше, а интеллигенты. Советоваться, да! Вместе принимать решения о будущем! Да, было сказано именно так. Ведь не зря же позвонил он самому известному диссиденту. Это ведь не случайно: именно на инакомыслящих хочет он опереться в этой стране, на тех, кто мыслит иначе. Надо строить новое общество с новыми героями, с иными мыслями.

Павел волновался, волновался он еще и потому, что стриженная девушка стояла совсем близко от него, и она казалась ему очень красивой.

– А если подробнее и серьезнее, Владислав Григорьевич, – сказал Луговой, но опять-таки не одному лишь экономисту Тушинскому, а сразу всем, кто был рядом, – то генеральный план действительно корреспондирует с вашими предложениями. Надо поворачиваться к цивилизованным странам. Пора.

– Выхода у вас нет, – жестко ответил Тушинский, – и не захочешь, а повернешься. Или на Запад, или в Сибирь. Или издавать Солженицына, или строить новые лагеря. Только лагерями сегодня экономику не поправить.

– Ну что ж, можно сказать и так. А можно и по-другому: и на Запад, и в Сибирь. Петр через балтийское окно хотел в Европу залезть, да застрял, узким окно оказалось; теперь надо делать дверь. И кто знает? Не в Сибири ли? Не через Тихий ли океан? Балтика мала оказалась. Мало окна, Владислав Григорьевич, – страна у нас с вами большая. Дверь нужна.

– Вот к нему обращайтесь, – и Тушинский показал на Кузину, уже изготовившего реплику и только ждавшего ее сказать.

– Вы столяр? – спросил Луговой, улыбаясь и улыбкой давая понять, что знает, кто такой Кузин, и про его идеи тоже знает.

– Дверь изготовить не фокус, – произнес автор «Прорыва в цивилизацию», – вопрос в другом: кто в эту дверь войдет. Да и пустят ли нас в эту дверь с той стороны? С чем мы в гости собрались? С колониями? С армией в три миллиона? С войсками в Афганистане? С политзаключенными?

– Было сделано много глупого, что теперь, задним числом, на мертвецов пенять. По-мужски ли это? Не причитать, а историю делать надо. Однако оглянитесь – сегодняшний день что-то решает. Вы на картины посмотрите, вы спросите художников, вы себя спросите.

– А что тут спрашивать, – зло сказал Тушинский, – конец вашей системе. Сдохла. Срок вышел – и сдохла. Врали, запрещали, тянули время – но теперь время вышло, пришла пора помирать. Казалось, износа нашим хозяевам не будет – вечные. А как хозяева один за другим перемерли, – он говорил это открыто, резко, не скрывая, что говорит о генсеках партии, действительно умиравших в прошлом году подряд один за другим, – как законопатили их в Кремлевскую стену, так и некому стало систему вранья поддерживать. Вопрос в другом: захочет новое поколение, чтобы вы его тоже дурили? Думаете, опять захочет? Думаете, тот же номер пройдет?

– Чтобы войти в семью цивилизованных народов, – сказал Кузин, – у России есть основания. История Европы и история России связаны, по сути, это одна история. Общая. Но Россия больна – семьдесят лет как длится болезнь.

– А может быть, это у нее здоровье такое?

– Здоровье? – и Тушинский еще ближе придвинулся, прямо в лицо Луговому выплевывая слова; он мастер был говорить, всегда сам увлекался, рассказывая, на его лекции набирались полные залы. – И вы еще произносите слово «здоровье»? Чье здоровье? Бабок, что по тридцатке пенсию получают? Узбекских школьников, которых гонят собирать хлопок? Алкашей, которых травят поганой водкой? Или вон Виктора Маркина – восемь лет ученый на Севере кайлом махал – вас озаботило здоровье? Вот у его жены спросите, – он прямо указательным пальцем ткнул в стриженую девушку, и Павлу стало почему-то неловко, – много внимания правительство уделило его здоровью? Вы красивую историю рассказали нам про звонок Саха-

рову. Да, умильную историю рассказали. – Тушинский помолчал. – Не пересказали только ответ академика. А он сказал вашему генеральному секретарю, что третьего дня в тюрьме, не выдержав голодовки, умер Анатолий Марченко! Вы слышите?!

– Марченко умер? – лицо Бештау исказилось. Мало кто из собравшихся, людей избранных, не знал о том, что Бештау был другом Марченко.

– Умер. От голода умер.

– Палачи! – и рука Бештау сжала плечо Павла.

– Марченко не воскресить, – сказал Луговой мягко, – но надо жить дальше.

– Жить – но без вас! Жить – но без палачей! – сказал ему в лицо Тушинский. – Жить, но в таком обществе, которое раскается в преступлениях.

– Раскаяться – не проблема. Нам, русским, каяться не привыкать. Покаялся, да и спать лег. Проблема в другом, Владислав Григорьевич, – в строительстве общества. Со мной собираетесь строить или без меня, вопрос тактический. Это уж как вам благоугодно будет. Я человек служивый: позовут – к работе готов, не позовут – навязываться не стану. Только строить общество надо. Вы уж, я вас умоляю, от строительства не отказывайтесь.

– Построим, – сказал Тушинский, – не сомневайтесь. И коллегам в четвертом отделении передайте: построим.

– Да я верю! Как не поверить? – и Луговой махнул пустым рукавом в сторону произведений искусства. – Вот уже, я вижу, строительство началось!

– Если и впрямь оценить сегодняшнее событие как историческое; если внимательно посмотреть на стены, как вы советуете, – это уже Кузин подхватил, он говорил гораздо мягче, понимая, что фактически транслирует сообщение прямо в высшие сферы, – если отнестись к искусству действительно как зеркалу общества, что же мы увидим? Давайте задумаемся над этим.

V

И они обвели взглядами зал, увешанный яркими полотнами. То было новое искусство, русским обществом прежде невиданное. Время слезливых пейзажей родного края миновало. Это прежде отечественные художники тщились тронуть сердце обывателя мелодраматическими ландшафтами. Сколько их, бессмысленных произведений, имевших одну цель – заставить поверить, будто убогий край по-своему привлекателен, сколько их было намалевано за годы советской диктатуры! Хватит, насмотрелись, накушались этой дряни до рвоты. Баста. Нынче искусство стало другим – бескомпромиссным и ярким. Это были карикатуры на Ленина и партию, хари алкоголиков, пародии на советские плакаты и всякого рода агитацию и пропаганду. Художники выставляли напоказ уродство быта и мерзость жизни: они прибавляли к стенам кривые сковородки и трехзубые алюминиевые вилки – позор советского общепита, они выставляли напоказ корявые табуреты и продавленные матрасы – а именно в таких условиях и жили советские люди, они клеили коллажи из унылых образцов казарменной одежды. Смесь поп-арта и концептуализма, абстрактного искусства и карикатуры – все это было лишено одного стиля и не являлось никаким направлением. Но в целом искусство рассказывало о дикой, невыносимой жизни. Пародии на советские плакаты кричали о том, что наша страна самая передовая: в ней и паралич самый прогрессивный, и проволока самая колючая, и прочее в том же духе; а с холстов смотрели уроды, исковерканные действительностью нелюди.

Зрители, идущие вдоль полотен, словно читали приговор обществу, каждая новая вещь добавляла еще один параграф в список обвинений. Даже абстрактные полотна, а были и такие, говорили о том же – о загнанной, постылой жизни без будущего: в какой же еще действительности выдумают такие грязные, унылые цвета? Лиза, та самая девушка, что прежде стояла в толпе позади Павла, повернувшись к своему спутнику, прошептала: «Боже мой, как страшна

наша Россия». А тот ответил: «Но ведь затем и существует искусство, Лиза, чтобы называть вещи своими именами. Изобразив отчаяние, ты его преодолеваешь». И Лиза восхитилась: «Да, верно». Лиза и ее спутник шли вдоль работ «шестидесятника» Первачева, который изображал тоскливую русскую провинцию – бараки, алкоголиков, слякоть. Они подробно рассматривали пейзажи, и Лиза всякий раз находила какую-нибудь потрясающую ее деталь. «Ой, смотри, вот у забора какая собака бедная. Замерзла вся». Или: «Гляди, а там белье вешают. Это на таком-то ветру. Бедные». За Первачевым располагалась инсталляция Осипа Стрёмовского: гипсовые бюсты основоположников – Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. К бюстам были подведены трубки газовых горелок, и через равные промежутки времени вожди выдыхали в зал пламя. Дальше – метафизические холсты Пинкисевича: серые и розовые квадраты на тусклом черном фоне: Пустырь № 1, Пустырь № 2 и т. д. Дальше – ранние, еще фигуративные вещи Струева: «Урок анатомии» и «Утро шизофреника». В дальнейшем Струев стал концептуалистом – писал непонятные тексты на листах фанеры, короткие, злые фразы. Были на выставке и эти работы. На огромном, грязном листе фанеры в углу было написано карандашом: «Кто из вас мыслит глобально?». Был в экспозиции представлен и зловещий опус Гузкина «Казнь пионерки» – на картине взвод фашистов вешал юную партизанку. В те годы сопротивление соцреалистической догме выработало простой и действенный прием: доводить догму до абсурда, то есть говорить то же самое, что и апологеты режима, но еще более казенным и серым языком. В результате сам язык соцреализма оказался дискредитированным – а с ним и идеология. Мастером такого рода протеста заслуженно считался Гузкин. Картина его нарочно была выполнена в манере соцреализма, то есть с фотографическими подробностями и в тусклых красках: дебильная девочка в пионерском галстуке стоит на табурете с петлей на тощей шее. Что хотел сказать художник этим произведением? Что жизнь наша серая и рисовать нас обучили тускло? Что сами мы такие же убогие? Что героизм наш – от глупости? Что кончим мы плохо, а после смерти над нами посмеются? Ах, он многое хотел сказать.

Луговой оглядел образчики творчества новых художников, изучил и зрителей, рассматривающих искусство. Он, в частности, проводил взглядом Лизу, и Кузин, смотревший, как смотрит Луговой, отметил блеск в глазах Однорукого Двuruшника. Луговой оглядел весь зал, показывая, что смотрит неформально, что ему интересно, он запоминает.

– Это как прикажете называть? Авангард?

– Это второй авангард. Первый вы безуспешно прятали и запрещали. Это – второй, и его уже не спрячешь. Вот сегодняшний герой, спросите у него, согласен ли он еще тридцать лет сидеть в подполье? – и Тушинский повернулся к Струеву.

– Ты согласишься, Семен? – спросил Кузин.

Струев улыбнулся. Для него это был обычный день, немного более суетливый, но обычный, не особенный. Не праздник, не юбилей. Никто не знал, чего стоило ему упротить начальство Союза художников отдать на пару дней этот зал, сколько вечеров пришлось сидеть в приемной вальяжного первого секретаря, как надоело унижаться перед районными властями, до чего тошно собирать вещи по мастерским у своих коллег. Никто из говорящих с ним и вообразить не мог, чего стоило убедить вечно трусивших единомышленников выступить бок о бок. Он собрал их в своей мастерской, проклиная в душе их вялость и жадность. «Это очередная провокация!» – кричал Пинкисевич, нервно глотая водку. Редкий семит, он проделывал это не хуже русского сантехника. Эдик Пинкисевич, православный еврей, крестившийся в зрелые лета и потому твердо блюдуший обряд, ходил по Москве в рваном лагерном ватнике и треухе времен Беломорканала и, хотя в лагерях никогда не сживал, производил впечатление политзаключенного. Он писал на небольших холстах розовые квадраты и серые треугольники, говорил, что продолжает дело Малевича, и постоянно опасался ареста. Вот и третьего дня он в короткое время налил водкой и принялся страшать всех грядущей «чисткой». «Выявить хотят, собрать в одном месте и разом прихлопнуть. Вспомните потом слова Пинкисевича, да

поздно будет». – «Семен, – спрашивал весьма осмотрительный Гриша Гузкин, – а ты и впрямь не видишь за этим ловушки?» – «Семен, – говорил выдавший виды Первачев, – в пятьдесят шестом я купился на такую же приманку. Мол, давайте все сюда». Струев сдержанно, стараясь не повышать голоса, зная, что и без того товарищи за глаза называют его «кукловодом» и «диктатором», перемежая речь комплиментами, сказал, что бояться нечего. В сущности, говорил он, решение о либерализации принято наверху и от них ждут встречного шага. Теперь от них, и только от них зависит, кто возглавит движение, кто оседлает идущую волну. Хотелось бы, взывал он к тщеславию товарищей, чтобы это были такие люди, как ты, Эдик, как ты, Гриша. Вы и без того признанные мастера, первые в этой стране, вам и возглавить движение. «Если решение принято наверху, – бушевал пьяный Пинкисевиич, – так пусть, сволочи, мастерскую дают приличную. Я уже устал ведрами говно выносить после протечек». «Нет, в самом деле, – говорил Гузкин, – в словах Эдика есть логика. Если существует определенный приказ, то не может не существовать и некая бюджетная основа. Я отчетливо понимаю, что наши имена хотят использовать. Было бы только логично, если бы нам в таком случае предложили определенную зарплату – в известном смысле это стало бы формой легализации». Струев отвечал, что все, разумеется, зыбко: никакого формального приказа нет и быть не может; речь идет об инициативе, о смелом рывке. Да, успокаивал он Пинкисевиича, страховка есть, мнение наверху подготовлено, но не хочешь же ты, чтобы тебе стелили красный ковер и ленточку перед входом резали? «А почему бы и нет? – кричал в этом месте беседы Захар Первачев; он тоже напился. – Почему бы и ковер не постелить? Много у них первачевых? Или пинкисевиичей? Что они нас по подвалам мариновали тридцать лет – это, видите ли, можно. Что в лагерях гноили – это в порядке вещей! А ковер, выходит, нельзя стелить? Придется, придется постелить!» И опять, выбирая слова, сдержанно говорил Струев о том, что придет время и Захару Первачеву не то что ковер, а памятник в Охотном Ряду поставят, и хоронить его выйдет весь город. Он не сказал Первачеву, что картинки последнего – с мятой газетой «Правда» и бутылками водки на фоне кривеньких колоколен – никому больше не нужны. Он не сказал, что, производя столько лет подряд одинаковую халтуру, надо Бога благодарить, если тебя еще помнят и зовут – для комплекта – на выставки. Он вместо этого сказал, что хоронить Первачева выйдет весь город. А когда тебя поднесут к Лавре, говорил Струев, цитируя жену Достоевского, то монахи выйдут навстречу с хоругвью.

Так прошла пятница. В субботу Струев сумел сделать так, что и Пинкисевиич, и Гузкин получили письма с проектами контрактов от западных галерей. Видите, говорил он им, на вас смотрит весь мир. «Пусть мир мне лучше новое пальто купит. Не век же ходить в ватнике». Не сказав Пинкисевиичу ни слова о том, что тот ходит в ватнике единственно по своему выбору и от необоримого кокетства и может сменить его в любой день на пальто, Струев отвечал, что весь мир от них ждет поступка и пропустить такой момент просто глупо. Это неразумно в чисто финансовом отношении, добавил он Гузкину, это значит сразу отсечь будущие заказы. А Первачеву сказал: «Боже мой, Захар, кто же, если не ты?» Это было в субботу. В воскресенье, наняв два грузовика, Струев объезжал коллег и собирал картины, борясь с амбициями мастеров – каждый хотел показать в два раза больше соседа. Тогда он сказал каждому, что неразумно показать сразу все, надо оставить резерв для броска по западным музеям. Сейчас он даже не смотрел на зал, он устал, ему надоело. За сорокалетнюю жизнь он успел научиться не придавать особого значения усталости, равно как и вдохновенным порывам. Надо было просто делать работу и использовать данную ситуацию наилучшим образом. Сегодня пришлось исходить из этого материала, что ж, хорошо. Завтра будет другая история, посмотрим, что можно будет сделать. Он знал, что, не собери он этот так называемый второй авангард, это сделал бы кто-то другой. Отдавать позицию лидера, ту, ради которой работал столько лет, было глупо. Тем более что совершенно понятно было, кто эту позицию лидера займет – тщеславный Стремовский, который тут же уничтожит бедного Пинкисевиича, сведет счеты со стариком

Первачевым. Значит, надо было сделать выставку самому, сегодня. Значит, надо было собрать этих людей в одно целое, заразить идеей движения. Он понимал очень хорошо, что, как бы ни был жалок Гузкин, как бы ни был вторичен Первачев, как бы ни был противен Стремовский, каждый из них занимал в общей выставке необходимое место, подобно маленькому кусочку смальты в мозаике. Ни одним из участников нельзя было поступиться, каждый вносил свою долю надрыва. Он понимал, что придется говорить с ними и завтра, и через год и делать еще выставку и еще, и эта перспектива не утомляла его, но и не радовала. Это была работа, которую он привык делать ежедневно. Сейчас он смотрел на Кузина, Тушинского и Лугового и улыбался, скалился своей знаменитой струевской улыбкой, про которую никогда не знали – показывает она веселье, иронию или издевку.

– Конечно, соглашусь, – сказал он, улыбаясь, – можно спрятать картины еще на тридцать лет, можно и на шестьдесят. И тогда я подготовлю выставку третьего авангарда, – он сказал, будто бы шутя, но сказал ровно то, что думал, что готов был сделать. Впрочем, все знали, что он может это сделать.

– Зачем же прятать? Показывать надо, продавать. Вещи злободневные, – сказал Луговой.

– Их сейчас увидит мир. Этого не остановить. И вам не будет стыдно за нашу страну? Мне будет, – резко выговорил Тушинский.

– Стыдно? С чего вдруг? Оттого что у наших работяг рожи с бодуна помятые и вилки в столовых кривые? А у тамошних разве нет? Вы в Бронксе в рабочих столовых едали? В Олстере были? А в Гарлеме? Или в южном Лондоне, в Брикстоне? Проблемы, господа, общие. Горбачев так и говорит: общий Европейский дом. У нас, как справедливо говорит господин Кузин, – странно прозвучало это непривычное слово «господин» вместо прежнего «товарищ», – одна общая история с Европой. Вы пишите, не стесняйтесь, высказывайтесь. Одно дело сказать мне, другое – на бумаге, в журнале. Вы действуйте. Речь теперь пойдет ни много ни мало о перестройке общества.

– Знаете, чем ваши прожекты в принципе кончаются? Знаете, куда ведет ваша перестройка?

– Она не наша, Владислав Григорьевич, а общая. Ваша в том числе. Прежде всего – ваша. Разве не вы предложили план переустройства России в пятьсот дней? Разве не вынашивают ваши друзья план, как нам обустроить Россию? Это вам, а не нам чего-то не хватало. У нас, у номенклатуры, – со смехом сказал Луговой, выделяя это почти ругательное слово «номенклатура», – и так все было в порядке. А теперь вы хотите уйти в кусты. Нет, голубчики, этак нечестно выходит. Пишите, убеждайте, учите народ! Вы знаете, Семен, – и здесь Луговой посмотрел прямо на Струева, – чем первый авангард отличается от второго?

Ответили сразу трое.

– Ценами, – резко сказал Струев.

– Ничем, – сказал буддист Савелий Бештау.

– Авангард вторым не бывает, – сказала стриженная девушка. Луговой выделил ее реплику и послал понимающий взгляд, покивал: мол, правильно, конечно, сказано, так и есть, но сами знаете – художники, они как дети, им надо сказку на ночь рассказать.

– А если не играть словами? Сказать вам, в чем отличие? – продолжал он.

– Скажите.

– Первый авангард рекрутировал в свои ряды пролетариат: революция-то была пролетарская. Родченко, Татлин – из рабочих, Малевич – из крестьян, Шагал – из семьи ремесленника, одним словом, все они представители того самого класса угнетенных тружеников, который и рвался к власти. А вы – вы все потомственные интеллигенты, интеллигенты не в первом поколении. Кроме того, ваше искусство и адресовано интеллигенции, никому более. Если говорить с полной правдивостью, – тут Иван Михайлович подмигнул, – пролетариат вы не особенно любите. Правда же? Правда? Скорее презираете. И я вас понимаю! Еще бы не понять! Ну как

нам с вами этих работяг-то любить? Этих алкашей подзаборных? За что же? Разве вы в своих бессмертных опусах к ним обращаетесь? Еще не хватало! А вас вызывает на инструктаж какой-нибудь держиморда вроде меня и талдычит: сделай так, чтобы пропойца-слесарь все понял. А это невозможно! Не поймет слесарь, деградировал бедняга навсегда! А мне, держиморде, надо слесаря развлекать, надо, чтоб у него не вся фантазия на водку ушла. Куда деваться? Работа такая, надо мной тоже начальство есть, – и Луговой горестно развел руками, то есть махнул в одну сторону рукой и хлопнул пустым рукавом в другую. – И я вам велю: старайтесь, угождайте слесарю! А вы не хотите! Вот вы и сидите по подвалам и друг дружке свои творения показываете, верно? Если одним словом определить ваше творчество, какое оно, это слово? Вы – интеллигенты! Интеллигенты! Это качественное отличие от авангардиста двадцатых. Тот был люмпен, не в ладах с мировой культурой, хотел ее сбросить с парохода современности. Ну сбросил культуру, потом спился, и корабль его стал тонуть. Вы же, напротив, возвращаете культуру на палубу корабля, не правда ли? И мы все смотрим на вас с надеждой: вдруг теперь корабль поплывет? Мы после долгого барахтанья в воде с вашей помощью вновь попадем в ковчег. Это и есть миссия интеллигента. Интеллигенция, которая в России традиционно воспринимается как совесть нации, вырастила второй авангард. – Луговой, произнося этот прекрасный спич, жестикулировал единственной рукой, и Кузин, наблюдавший за ним, отчего-то подумал: «Как же он с Багратион-то управляется? Одной рукой с двумя такими сиськами?»

– Что, тонет ваш корабль? – злорадно спросил Тушинский и глазками полыхнул.

– Наш общий корабль, Владислав Григорьевич, не тонет, а, так сказать, протекает. Ну да ничего, с вашей помощью мы его и подлатаем.

– Думаете, я стану ваши пробоины латать? – никто и никогда не говорил с партийным чиновником так резко. – Думаете, найдете таких дураков? Хватит. Баста. Вас и в капитаны-то уже не позовут. Советую списаться на берег.

– Не рвусь я в капитаны, – Луговой даже рукавом по воздуху замотал, – это пусть уж демократическое голосование решит, кого из вас, интеллигентов, поставить у руля.

– Именно голосование! – продолжал грозиться Тушинский. – Свободные выборы! Вот вы чего боитесь! Многопартийная система! Гражданские свободы! Открытое общество!

– Ведите нас, Владислав Григорьевич. Нет у меня сомнения в том, что в парламенте вы станете лидером. Я лично обеими руками «за», – и Луговой поднял единственную руку вверх и засмеялся, тряс пустым рукавом.

Он кривляется, думал Кузин, глядя на Лугового. Он привык быть начальником, а сегодня понимает, что его время прошло. Он еще опасен, но уже присматривает пути отступления. Суется, не знает, куда податься. Да, он, может быть инстинктивно, выразил суть происходящего: победила интеллигенция. Цивилизация взяла реванш у варварства.

– Значит, вся надежда на интеллигенцию? Полагаете, так? – сказал он вслух. – Ну что ж, я с вами согласен. Интеллигенция возглавит бархатную революцию, это только логично. Возродим дело авангарда, преступно забытое.

– Не правда ли? На вас – на вас, и на вас, и на вас – вся надежда.

– Первое, что требуется, – подал голос Савелий Бештау, – это рассказать о преступлениях власти! Поведать правду о первом авангарде – замученном и забытом! Требуется покаяние! – закончил он с неожиданной для буддиста напористостью.

– Это необходимо, – поддержал Кузин, – хотя бы для того, чтобы история не повторилась. Это, – сказал он, готовя фразу для будущей статьи, – возвращение долга, история обязана оплатить свой вексель.

– Да обманут, обманут они! – сказал Тушинский. – Какие векселя! Нет им веры!

– Помилуйте, господа, вас много, а я один. Как мне вам всем возразить? Вы правы, покаяние необходимо. Только чье? Посмотрите, логично ли у вас получается: вы упрекаете меня в том, что мы, партийные держиморды, запрятали в подвалы первый авангард. Ну хотите, я

соглашусь – да, запрятали. Но мы право имели. Они и так из подвала вышли – из заводского цеха, из крестьянской избы. Это мы, партия, вывели их на свет, дали им ремесло и научили свободному труду. Они – революционные, партийные кадры, они – наши кадры, нам подотчетные. И я, как председатель собрания, предоставляю слово каждому в порядке ведения, в его очередь, руководствуясь общей пользой. Когда это было полезно, им давали говорить. Потом я стал давать слово другим – это ведь наше собрание, по нашим правилам и ведется. А что в это время делали вы? Вы участвовали в общем деле? Нет, не участвовали. Вы помогали стране? Нет, не помогали. Вы были озабочены жизнью пролетариата? Да ни в коем случае. Вас звали, упраскивали поучаствовать в общей жизни – а вы нос воротили. Вы были всем недовольны, вы, – Луговой опять посмеялся, – подрывали существующий строй, он вам несправедливым казался. А теперь, когда мы, партийные держиморды, согласились к вам прислушаться, вы хотите опять устраниваться, отсидеться в кустах. Это – честно? Нет уж, господа, пришла пора вам высказываться.

– А где высказываться, не подскажете? Печатный орган не присоветуете?

– Подскажу.

– Прямо сейчас?

– Могу и сейчас.

– Пожалуй, в «Колоколе» порекомендуете?

– Именно в нем. Великолепное название.

– Не я придумал, не меня и благодарить.

– А мы как раз и продолжаем дело Александра Ивановича. Ему и спасибо скажем.

– Выходит, прав Ленин: декабристы разбудили Герцена, тот развернул агитацию, дальше пришли большевики, – а за ними просвещенные держиморды? – это Тушинский с обычной своей резкостью так сказал.

– Вы пропустили важный этап, Владислав Григорьевич, – ответил Луговой, – Ленин лишь наметил ход событий. И не мог предвидеть всего. За большевиками не держиморды пришли, за ними пришла интеллигенция. Пришли историки, художники, журналисты, философы – интеллигенты, ущемленные в правах. Их большевики в прослойку определили – а они захотели сами на царство. Оглянулись по сторонам – а во всем мире уже интеллигенция у власти, чем мы-то хуже? Именно интеллигенция – в охоте за своими правами – и стала новым революционным классом. Кто пришел вслед за пролетариатом? Именно вы, Владислав Григорьевич, пришли на смену путиловским рабочим – с вас и спрос.

VI

Павел переводил взгляд с одного собеседника на другого. Каждое слово разговора потрясало Павла, он старался запомнить все в точности, чтобы пересказать домашним.

– Я уже слышал, – сказал Кузин, – снова будет выходить «Колокол» в Лондоне, да? Что ж, западничество и европеизм – наша последняя надежда.

– Есть еще одна – непройденный путь евразийства.

– Евразийство – это тупиковый путь, – заметил Тушинский с презрением.

– Да и западничество – тоже тупиковый путь. Так и мечемся всю жизнь между двумя тупиками, – это сказал человек, стоящий к ним вполоборота, из другой группы. Он сказал это как-то неожиданно зло и сам растерялся от своего тона. Никто не звал его вмешиваться, да и подслушивать тоже не звали. Встрявший в беседу человек заморгал, хотел было извиниться, потом понял, что и это нелепо, и отвернулся так же бестактно, как и влез в беседу.

Семен Струев перешел к следующей группе, откуда и пришла реплика. Он знал всех в этом зале.

Другая группа, состоящая из профессора истории Сергея Татарникова, искусствоведа Рихтера и протоиерея Николая Павлинова, тем временем обсуждала иные вопросы – не злободневные, но онтологические. Татарников, как обычно, пикировался с Рихтером, а протоиерей их примирял. Татарников просто подхватил обрывок беседы соседей и, по своей привычке спорить, встрял с мнением. Теперь он продолжал разговор с Рихтером. Соломон Рихтер говорил так:

– Россия по историческому развитию своему – приговорена быть пограничной территорией. Так сказать, фронтир. Между Великой степью и европейской цивилизацией, между быстро бегущим временем Запада и медленным временем Востока.

– Для чего, скажите на милость, употреблять французский термин *frontière*, говоря о России? – возразил ему Татарников. – Почему «фронтьер»? Нам, русским, всегда мнится: вклей иностранное слово – и дело прояснишь. Добро б хоть Россия с Францией граничила. А граничит она с Афганистаном да с Чечней, при чем тут *frontière*? Скажите уж по-турецки или на фарси. Разве я не прав, батюшка?

– Россия – трансформатор; если представить, что есть трансформатор, переключающий не энергию, а время... – гнул свое Рихтер.

Отец Николай, не имея привычки вслушиваться в слова других, говорил раскатисто:

– Ах, как это трудно – понять себя. Чего нам не хватает, так это культуры. Культура должна проявляться буквально во всем. Ведь что такое культура? А? В Равенне, например, – говорил отец Николай, – великолепная форель. И это не мешает смотреть на мозаики. Головокружительная красота – дух захватывает; мозаики, от которых сердце бьется так, что аж в ушах звенит, и когда от всего этого хочется просто, вульгарно передохнуть, спускаешься с холма, и слева... Вы бывали в Равенне? – спросил он Рихтера.

– Да. То есть сам не бывал, – сбитый с толку Рихтер развел руками, – но мозаики знаю. По книгам.

– Я сейчас о другом. Так вот, обычный, совершенно ординарный ресторанчик, из тех, куда заходят на бегу, перехватить кусок на скорую руку. Ждешь там найти какую-нибудь позавчерашнюю пиццу. Думаешь, вот сейчас шмякнут на тарелку кусок прогорклой мерзости. Но подают свежайшую, только что пойманную и, наверное, доставленную с озера Фузаро – форель. Жарят на рашпере, хрустящая корочка, золотистая, – кстати, хребет у форели отделяется на удивление легко – поливаешь ее лимоном – и с холодным Фраскате...

– Прекрати, Николай – говорил Татарников, – у меня язва, и от твоих рассказов может приступ начаться.

– Это ведь все вместе, Сереженька. Нельзя культуру расчленять на составные части. Какие теперь фронтиры, какие границы? Общий дом, одна территория. Вот ездили мы в Ватикан этим маем, жара страшнейшая, Рим просто плавился. Все буквально истомились по купанию. Филарет говорит: Римини, Римини – потому что помнит, какие там пляжи. Античные еще пляжи. Конференция заканчивается, выходим на площадь – и на тебе: автобус до Монте-Карло. Далековато, конечно, но...

Струев пожал плечо протоиерею, погладил по рукаву Рихтера, оскалился на Татарникова и двинулся дальше. Следующую группу образовали Ефим Шухман, Слава, секретарь Басманова, и Осип Стрёмовский.

Колумнист «Русской мысли» Ефим Шухман, бескомпромиссный публицист, плохо ориентировался в толпе незнакомых людей. Его парижский опыт подсказал ему выбрать в себе-седники человека молодого и думающего, одетого скромно, но чисто: таким оказался секретарь Германа Басманова. Держа юношу под локоть, Шухман излагал ему азы гражданских прав и свобод. Секретарь Слава, привыкший в приемной выслушивать что угодно, терпеливо кивал. Художник Стрёмовский держал Славу за другой локоть, глядел на Шухмана с почтением и подтверждал Славе его слова.

– Задача сложнейшая, – сказал Шухман. – Не советую обольщаться. Если хотите знать мое мнение, я решительно не советую обольщаться. Ждать, что завтра в этой стране будет рай, – я не советую. Могу пояснить почему (если интересно мое мнение). Вам требуется построить открытое общество. К тому же надо научиться жить в открытом обществе. Менталитет этой страны (понимаете меня?) иной. Я, например (возьмем меня, рассмотрим мой опыт), каждую мелочь должен был учить заново. Понимаете?

– Надо почувствовать дух времени, – поддержал Стремовский. Он говорил в другое ухо Славе, и в голове у того стоял шум. – Открытое общество, – резко сказал Стремовский, – это прежде всего информационное поле. Отсутствие информации не дает почувствовать дух времени.

– Справедливо, – Шухман благосклонно встретил помощь. – Если хотите знать мое личное мнение, вам предстоит учить азбуку с самого начала.

– Придется снова учиться ходить, – строго сказал Стремовский Славе, а тот терпеливо кивнул, он был обучен слушать начальство.

Струев миновал эту группу, погладил Славу по рукаву и сказал: «Вас, кажется, Герман Федорович ищет».

В следующей группе – в нее входили тот самый носатый юноша, что предложил бить часы, эссеист Яков Шайзенштейн, культурологи Роза Кранц и Голда Стерн и совсем юная девушка Люся Свистоплясова – говорили о любви.

– Я ее где-то встречал, – сказал Яков и показал на стриженую девушку, – к сожалению, не в своем гареме.

– Это Юлия Мерцалова. Жена Маркина.

– Виктора Маркина? Диссидента?

– А до него Лени Голенищева. Мерцалова, она же Маркина, она же Голенищева.

– С Маркиным она давно?

– Лет пять.

Когда приблизился Струев, Шайзенштейн сказал:

– В искусстве гоняются за оригиналом. А в любви достаточно репродукции.

– Я сразу пишу копию, чтобы вопросов не возникало, – сказал Струев. – Если невозможно среду преодолеть, надо с ней слиться и разрушить изнутри.

– Страсть разрушает, – заметила Голда Стерн, – не потому, что копирует чужую страсть, – и она поискала глазами Бориса Кузина.

– Верно, – сказала Роза Кранц и тоже поискала глазами Бориса Кузина, – схожих чувств не бывает. Но язык страстей часто похож.

– Ну вот, – подхватил Шайзенштейн, – а меня в редакциях корят за ненормативную лексику. Я матерюсь с одной целью: сделать текст доступным пониманию девушек.

VII

Так проходил этот памятный для Москвы вернисаж. День этот впоследствии вспоминали как веху и, действительно, по совету искусствоведа Рихтера сверяли по нему время. Однако проходил этот день легко, сам не замечая своей значительности. Только зрители, энтузиасты, такие как Павел или Лиза, оставались возбужденными весь вечер и не могли успокоиться. Сами же участники быстро освоились со своим новым положением и вели себя непринужденно. Обмен визитными карточками, приглашения продолжить этот приятный вечер в гостях, назначение свиданий – вечер завершался, как и полагается.

Советник Фергньюген получил приглашение на обед от жены художника Гузкина, той самой, что получила в подарок часы, а до того лишилась супницы. Супруг ее, Гриша Гузкин, познакомившись с австрийским послом, уже обсуждал заказ на портрет с Эдиком Пинкисеви-

чем. «Представляешь, – говорил Гузкин, – он сын Крайского, самого канцлера. Денег, думаю, в семье хватает». – «Ты сначала сделай вид, что хочешь подарить, – советовал Пинкисевиц, нахмурившись, – он, конечно, откажется. Тогда ты скажи так: ну неудобно же мне с вас брать реальную стоимость. И пусть он покрутится». Первачев нашел в толпе диссидента Маркина, и ветераны правозащитного движения предались воспоминаниям. Они рассказали молодежи о том, как в семидесятых, едва «оттепель» закончилась, их обоих вызвали на допрос на Лубянку к одному и тому же следователю и они познакомились в коридоре ГБ. При знакомстве, утверждала легенда, Первачев достал из кармана фляжку с ромом (а он всегда ходил с фляжкой рома, еще со времен войны), и они хлебнули по фронтовому глотку прямо на Лубянке. Встретившись теперь вновь, они договорились отмечать ежегодно тот самый день допроса. «И пить ромом до поросычьего визга!» – кричал Первачев. Леонид Голенищев, отойдя в сторону с Басмановым, говорил с ним о реорганизации Министерства культуры. «Вы с вашим опытом, Леонид, могли бы возглавить подразделение современного искусства, ориентированное на контакты с Западом. Ведь сколько возможностей!» – «Вы знаете мои принципы, Герман. Никаких компромиссов». – «Помилуйте, какие компромиссы? Министром будет свой, адекватный человек. Знаете Аркашу Ситного?» Пинкисевиц, представленный Дюренматту, описывал советский быт. Как и всегда, он был подробен в деталях, настойчив в сетованиях: «Два раза в месяц протечки, санузел просто не справляется, весь пол в экскрементах. Надо убирать, мыть, вытаскивать ведра с этой мерзостью. Все руки, простите, в говне, – и Пинкисевиц совал Дюренматту под нос свои руки, на тот момент как раз относительно чистые. – Приходится отдавать время, которое посвятил бы работе. Я полагаю, у вас, Фридрих, художникам все-таки создали подходящие, человеческие условия?» – «О да, – уверял Дюренматт, – создали». Фотограф Горелов и буддист Бештау разговаривали о дачах на Рублевском шоссе. «Хочешь, скажу честно? – спрашивал Горелов, и буддист кивал, он хотел именно этого. – Теперь время такое – надо покупать! – убеждал Горелов, который никогда не видел больше трех рублей одновременно. – Вложишь копейку, продашь за миллион». Глаза буддиста сверкали. Луговой составлял с Кузиным и Пайпсом-Чимни портфель будущего журнала. Кузин плавно поводил в воздухе руками, изображая эллипсы, Луговой своей единственной рукой сек эти эллипсы наотмашь, Пайпс-Чимни смотрел на них, прищурившись: «Гляди-ка, ведь и впрямь взялись за дело! Любопытно, что же победит в этой стране сегодня – икона или топор?» Чарльз Пайпс-Чимни согласился напечатать в будущем журнале пару страниц из будущей книги. Как же назовет он свой новый труд о России? Наверное, опять что-нибудь парадоксальное придумает. «Кнут и пряник»? «Подкова и плеть»? Пайпс-Чимни загадочно шурился и на прямые вопросы не отвечал; уж он придумает, как назвать, можете не волноваться – обобщит, да еще как! Колумнист Ефим Шухман рассказывал Розе Кранц, какие гонорары платят в Париже за передовую в газете. «Поймите, Роза, – трезво, спокойно объяснял Шухман, – всякий труд должен быть оплачен. Если деятельность просветительская, – это не значит, что работать вы должны даром». – «Нам еще предстоит научиться логике свободных людей в свободном мире», – отвечала Роза Кранц. «В этой стране, – Шухман, подобно большинству свободомыслящих людей, именовал Россию “этой страной”, подчеркивая дистанцию между Россией и собой, – в этой стране не принято уважать труд. Между тем уважение к труду есть условие цивилизации. Например, если меня приглашают на коллоквиум, я настаиваю, чтобы мне оплатили не только такси, но и время, которое я провожу в дороге, пока еду на такси. Это компенсация того, что я потенциально мог заработать в это время, не так ли?» – «Так может рассуждать лишь свободный человек, – говорила Роза, – нам в этой стране требуется изжить рабское сознание». Тушинский, фон Шмальц и Шайзенштейн говорили о будущем аукционе Сотбис, где русские картины получают истинную цену. «Рынок, – повторял Тушинский, – рынок, рынок. Гарантия свободы – это рынок». – «Погодите, – говорил Шайзенштейн, – вот появится рынок, а значит, и фальшивки, и воровство – все полезет». – «Что делать, – говорил фон Шмальц, – это нормальная жизнь культуры». Люся

Свистоплясова, особа беззастенчивая, убеждала отца Павлинова взять ее в паломничество. «Прокатимся мы с вами, отец, – говорила Свистоплясова и улыбалась хищно, – по святым, так сказать, местам». Протоиерей благосклонно улыбался и называл Люсю «дочь моя». Алина Багратион, продолжавшая обнимать Павла за талию, произнесла: «А где же ваши произведения?» Павел дернулся в ее объятиях, освободиться не смог и ничего не сказал в ответ.

– А вы, – спросила стриженная девушка у Павла, – тоже художник?

Она уже шла к мужу и вдруг обернулась назад, и взгляд ее карих осенних глаз прочертил темную линию от нее к Павлу. Ее взгляд был как выпад, он походил на движение живописца, стремительное, неуловимое движение к холсту – мазок кисти, нагруженной краской. Павел почти увидел эту осеннюю краску, эту темную радугу взгляда, проведенную между ними. Так в иконах Треченто изображали нисхождение Святого Духа: властная линия, пересекающая пространство, перечеркивающая суету, отменяющая пустые будни.

Павел обычно стеснялся сказать, что он художник. Орден искусства, рыцарем которого он себя считал, запрещал все говорить о творчестве. Он находился в том счастливом возрасте, когда выставки, продажи, коллекционеры, эти неминуемые спутники творчества, еще не вошли в его жизнь. Ему вообще казалось, что следовало бы вовсе обойтись без выставок и зрителей. Но сегодня случился особенный день. Оказалось, произведения не просто жили в священной реальности, но сумели изменить реальность земную. Совсем как тогда на Монмартре. Совсем как в прочитанных книгах.

Опьяненный и девушкой, и выставкой, он серьезно подтвердил, что да, он – художник.

– Я бы хотела увидеть ваши работы.

– Когда вам удобно? – спросил Павел.

И не услышал ответ, потому что именно в эту самую минуту сероглазая зрительница Лиза приблизилась к компании и, выделив Лугового как старшего, спросила, и, как обычно бывает с неискушенными в светских беседах людьми, спросила очень громко, словно всем ее вопрос должен был быть интересен:

– Скажите, а вот то, что мы видим, – это действительно второй авангард?

– Да, – сказал Однорукий Двuruшник, – теперь это несомненно.

– Но ведь когда случился первый авангард в России, он одновременно был в разных странах, это правда?

– Действительно. Такие вещи возникают, как правило, параллельно в разных культурах. Во всяком случае, и в Германии, и в Италии, и во Франции, и в России авангард дал знать о себе почти одновременно.

– И значит, теперь авангард тоже сразу во многих местах?

– Думаю, что сходные процессы можно наблюдать и в других странах.

– Скажите, я верно понимаю, что авангард приходит тогда, когда старое уже никуда не годится?

– Это немного резко сказано, милая моя, но, конечно же, авангард как явление социальное напрямую связан с кризисным состоянием общества.

– Но если сейчас весь мир переживает кризис, тогда что же мы празднуем?

2

Стойка живописца, описанная выше, сделалась нужна только с появлением холста. Прежде в свободном шаге не было необходимости. Только в общении с холстом художник приобрел осанку фехтовальщика. Связано это с тем, что неожиданно художник остался перед миром один: исчез предмет ремесленного труда (доска, стена, камень), защищающий его от мира и предполагающий строгую позу ремесленника; а холст – не вполне предмет: это лишь занавес, скрывающий – или приоткрывающий – бесконечное пространство. Работая с ним,

художник сосредоточен не на его поверхности, а на том, что грежится сквозь нее, на том, что является за зыбкими колебаниями материи. Он может отдаться фантазии; оттого он и ходит по мастерской так легко и быстро, словно шаг к холсту проведет его сквозь картину – в неизвестную даль. Вовсе не случайно холст напоминает парус корабля, а иные художники даже писали картины на парусине. Мольберт – точно мачта с реями, и когда холст воздвигается над ним и белый прямоугольник его трепещет в воздухе, ощущаешь томление, точно при виде отплывающего корабля; скрип рангоута и лееров слышится в скрипе подрамника.

До того как появился холст, изображение наносили на незыблемые поверхности. Доска, покрытая левкасом, и стена, приготовленная под фреску, требуют смирения. Материал не терпит переделок, художник должен склониться перед ним. Иконописец сидит, согнувшись перед доской, мастер, выполняющий фреску, неподвижен на лесах – он не расхаживает с палитрой по мастерской. Изображение, нанесенное на твердую поверхность, всегда определено – даже дух святой имеет строгую форму, даже сияние вокруг головы имеет четкие очертания. Соответственно и постановка руки – и всего тела – рисующего должна быть раз и навсегда определенной. Твердая поверхность не знает неизвестной дали – все, что удалено на картине, столь же внятно и ясно, как и то, что вблизи. Иное дело вибрирующий, дрожащий холст, прогибающийся под рукой, провисающий под холодным ветром, натягивающийся до звона в жару. Холст трепещет, как флаг, наполняется воздухом, как парус. Художник управляет им, точно матрос парусом, – направляя холст через дали и расстояния. Художник стоит перед холстом, точно воин у знамени: холст символизирует славу и дерзание, – и точно шпагой салютует ему художник своей кистью.

Живопись масляными красками на холсте доминировала в мире недолго – с XV по XX век, всего пятьсот лет. Ни резчики по дереву, ни мастера икон и средневековых фресок не знали той свободной позы, какая появилась в мастерских Возрождения, не знали осанки Тициана и Леонардо, поступи Веласкеса, расправленных плеч Рембрандта. Карл V нагибался, чтобы поднять оброненную Тицианом кисть; Леонардо описывал преимущества живописца перед ремесленниками – скульптором, зодчим, ювелиром: живописец не унижен трудом. Свободная поступь художника, та, что увековечена Веласкесом в «Менинах», орнанским мастером в картине «Доброе утро, Курбе», Ван Гогом в его стремительной картине «На работу», – эта свободная поступь исчезнет, когда холст – как материал, присущий эстетике Ренессанса, – уйдет в прошлое. Картину вытеснит иная форма деятельности, соответственно изменится и поза художника. Человеку, именующему себя художником сегодня, случается подолгу застыть в какой-либо неудобной и смешной позе, если он производит то, что называется «перформансом». Нередко от него требуется унизить себя, чтобы развлечь публику: например, раздеться донага, встать на четвереньки, прыгать на одной ноге. Искусство ушло от неведомого, парус спущен, корабль достиг гавани. Творчество вернулось к предмету – теперь таким предметом стала не стена и не доска, а сам автор: он должен сделать свое собственное существо забавным, чтобы обратить на себя внимание.

Нужда в горделивой позе художника быстро пройдет, и она легко будет заменена позой лакея или официанта.

Глава 2

Призрак революции

I

Струев некоторое время лежал с открытыми глазами, приглядываясь к незнакомой комнате. Так бывало с ним часто: он просыпался в чужом доме, лежал неподвижно, вспоминая, где был вчера и как оказался здесь. Так Струев придумал свой первый перформанс «Утро в чужом доме»: человек просыпается в выставочном зале, привычным жестом находит очки и часы, оглядывается и не сразу понимает, что он – экспонат. Понимает он это лишь тогда, когда находит у себя на руке бирку с ценой и печатью магазина.

И сегодня было как обычно: он полежал, оглядываясь, соображая, где находится, потом откинул одеяло и встал. Алина Багратион, спавшая ничком, так что ее крупные груди расплющились и высывались по обе стороны тела, пошевелилась и перевернулась на бок, но не проснулась. Струев поднял с пола мятые брюки и один носок и посмотрел по сторонам в поисках второго. Вечно я теряю носки, подумал Струев. И в самом деле, процедура снятия носков унижает мужчину, стараешься проделать это стремительно, сдергиваешь их вместе с башмаками, одним движением, и швыряешь в сторону, они и заваливаются куда-нибудь. Он не нашел второго носка, но, что хуже, не нашел трусов. Они где-то в постели, решил Струев, надел брюки на голое тело, ботинки на босу ногу и сунул единственный носок в карман. В кармане же он обнаружил часы и порадовался своей предусмотрительности – не на пол бросил, не под подушку положил, а в карман спрятал, молодец, хоть чему-то жизнь научила. Он снял со стула рубашку, набросил на плечи, подошел к окну. Было позднее утро.

Если бы Семен Струев к неполным сорока годам не научился испытывать то, что за неимением более точных слов называют стыдом, он бы это чувство испытал сейчас. Так себя обычно чувствуют мужчины наутро после ночи в случайном доме, в обществе случайной женщины. Обыкновенно им хочется поскорее уйти прочь, скрыться, в груди у них собирается горячий комок раскаяния, им непременно становится тревожно за домашних, словно в ту самую минуту, пока они предавались удовольствиям – да еще и разобраться надо, удовольствия ли то были, – с их домашними приключилась беда. Если бы страдающие от раскаяния обладали способностью спокойно анализировать чувства, они бы, скорее всего, пришли к выводу, что домашние их мирно спали, а если кому и пришлось нелегко прошлой ночью, то как раз им самим; но разве кто из грешников способен на такой бездушный анализ? Напротив, наутро после грехопадения душа особенно восприимчива к самым незначительным нюансам чувств и отвергает логику.

В Струеве изначально было заложено не меньше стыда, чем в прочих мужчинах. Если бы он дал себе труд вспомнить себя юношей, то вспомнил бы и это чувство. Но с годами прочие переживания вытеснила страсть к деятельности и долгая, непроходящая, изматывающая досада. Двадцать лет подряд он, точно солдат Павловской гвардии, делал одно и то же упражнение на плацу, а именно – в его случае – бился в запертую дверь. Он знал про себя, что сил у него достанет и еще на двадцать лет, и давно перестал употреблять слова «подвижничество», «ремесло», «подвиг творчества». Ему противен был пафос. Вместе с пафосом ушел и стыд и вообще всякое волнение по поводу впечатления, которое он оставляет у других. Ему сделалось более или менее все равно. Он давно чувствовал себя солдатом в походе и приучил себя – и других тоже – относиться к попутным событиям в своей жизни легко. Он чувствовал за собой право вести себя как солдат, главная цель которого – война, но который на ходу может

сорвать яблоко в чужом саду или переночевать в случайном сеновале. Женщины, с которыми он спал, давно не спрашивали, любит ли он их, а жена давно не спрашивала, придет ли он домой ночью. Сегодняшний день был днем битвы, после битвы полагаются трофеи – в этом не было ничего странного или особенного. Так было всегда и так всегда будет. Перемелется – мука будет, обычно говорил Струев и скалился в улыбке. Пару месяцев назад он едва не разругался с четой Пинкисевичей: пришел в гости, а под утро, пьяный, довольно грубо добился благосклонности сестры Гали Пинкисевич, тридцатилетней Анечки, приехавшей из Винницы. Эдик наутро кричал, что он, Струев, не имеет совести, что люди для него – грязь под ногой. Струев с похмелья не имел даже сил спорить. Он только и смог, что разлепить губы и спросить: «Пинкисевич, ты что, дурак?» Спас отношения Гриша Гузкин. Затюканный женой семьянин, он восхищался свободным образом жизни Струева и в то утро убеждал Пинкисевичей, что «девке повезло и будет что вспомнить». Пинкисевичи, в сущности, и сами склонялись к тому же мнению и в конце концов согласились. Анечка же в дискуссии участия не принимала: спала до полудня, потом переживала в своей комнате, немного поплакала, вышла только к вечернему чаю, когда гости разошлись.

Струев родился в провинции, в Ростове, и прожил там до семнадцати лет, до художественного училища в Москве. Примерно до этого же возраста он и читал книги со всей энергией провинциального мальчика; в дальнейшем столичная жизнь и занятия искусством не оставляли времени на чтение, он добирал образование в разговорах. Из некогда прочитанного ему врезалась в память книга послевоенного автора – Ремарка или Хемингуэя, в которой герой (художник, как и Струев) говорит жене, объясняя свой образ жизни: «Может быть, ты бы попросила Тулуз-Лотрека не пить, а Гогена раньше приходить домой?» Эта мысль поразила Струева простотой и правотой. Действительно, та жизнь изгоя (или солдата в походе, что одно и то же), которую ведут подлинные творцы, словно выдавала им индульгенцию для нескольких свободных минут так называемой личной жизни. Ведь они сжигают себя на костре творчества: неудивительно, что прочие вещи, сопутствующие им в жизни, тоже сгорают: родственники, семья, женщины. Это просто неизбежно – должен же Тулуз-Лотрек снять напряжение после изнурительного рабочего дня, а уж нравится это кому или нет, какая разница. Струев не хотел говорить себе, что занятия современным искусством не забирают у него ни много времени, ни много сил – ему не надо, как члену гильдии святого Луки, подолгу тереть краски, изучать анатомию, корпеть над грунтовкой или шлифовкой холста, делать эскизы, натурные штудии и т. д. Время, которое он, собственно, проводит у своего произведения, исчисляется минутами – и в эти минуты он может думать о другом, курить, слушать радио, пить вино, болтать с друзьями – он не обременен трудом; да и много ли труда надо, чтобы учудить перформанс, трудно ли пошутить? Когда он говорил себе, что двадцать лет бьется в запертую дверь, то имел в виду не буквально труд, но тот образ искусства, который он предлагал обществу, а общество не хотело признавать – в этом и состояли его муки. Непосредственно с трудом, то есть с часами, проведенными в усилиях, это связано не было. И однако Струев никогда не сказал себе этого. Он продолжал быть уверен в том, что принадлежит к специальному племени отверженных, проклятых поэтов, солдат передовой, которые, идя на смерть, могут позволить себе что угодно. В мастерской, где он жил, он завел себе спальный мешок, которым укрывался вместо одеяла, и образ человека, который всегда в походе и никогда не отдыхает, нравился ему. Случайные женщины, делившие с ним ночлег, спрашивали обычно: а одеяло здесь есть? Зачем? – отвечал Струев. И этот ответ предупреждал следующий вопрос: когда я приду сюда опять? Никогда не придешь, потому что поход есть поход. Завтра я буду далеко.

II

Сейчас Струева занимал вопрос: где Луговой? Не было сомнений в том, что они вчера приехали в знаменитую квартиру Лугового на Малой Бронной – вот и пруд из окна виден, и домик для лебедей на воде качается, и тополя, и лавочки. Огромная барская семикомнатная квартира, окнами на Патриарший пруд, дар партийцев особо отличившемуся партийцу; здесь устраивали банкеты и отмечали выставки, сюда приглашали иностранных гостей и отечественных дипломатов; с недавних пор здесь поселилась Алина Багратион, но вот куда она дела мужа? Они спят в разных спальнях, решил Струев. В конце концов, люди немолодые, да и живут на западный манер: не вмешиваются в дела другого. Он выглянул из комнаты в коридор и поразился необъятности пространства – двери шли и налево и направо, точно в коридорах больницы. Интересно, какая ведет в туалет? – подумал Струев. Было бы глуповато отправиться в туалет, а попасть, напротив того, в спальню Лугового. И что сказать человеку, которого вчера звал на вернисаж, а утром выходишь из спальни его жены. С добрым утром, Иван Михайлович? Впрочем, какая разница. Так и скажу. Он вряд ли что-нибудь спросит, небось привык. А если не привык, пусть привыкает. Такой бабой надо делиться. Почему, собственно говоря, я за него должен думать, что говорить? Пусть сам подумает.

Струев просунул руки в рукава рубахи и вышел в коридор. Он ткнул первую же дверь и оказался в помещении вроде кладовки; стояли на кафельном полу баки, пахло стиранным бельем; навстречу ему шагнула высокая старуха, поглядела тусклым взглядом и сказала: «Ох, Алина, всегда вы к завтраку опоздаете. И кавалеру своему скажите, чтобы оделся». Струев невольно оглянулся, не стоит ли Багратион за его спиной. Но сзади никого не было. Старуха все так же, не мигая, смотрела прямо перед собой, ее тусклые глаза без ресниц и почти без век напоминали змеиные. «Кофе с голой грудью не пьют. Здесь не Гавана и не Мадрид». Струев отшатнулся, пропуская старуху в дверь, та степенно прошествовала мимо и двинулась прочь по коридору, откинув голову, шаркая ногами. Струев оглядел комнату в поисках унитаза или хоть раковины, он не возражал бы помочиться и в раковину, но ничего не нашел и вышел из кладовки. Хотел нагнать старуху, спросить, где тут удобства, но та исчезла – вошла в одну из комнат или завернула за угол в длинном коридоре. Он пошел по коридору, толкая двери одну за другой, однако ни старухи, ни туалета не нашел. Вот гардеробная, и он отметил, сколько костюмов имел Луговой. Рукавов-то левых сколько зря нашили, подумал Струев. Вот гостиная, сюда они вчера и вошли, с этой комнаты начали. Об этого деревянного слона Струев вчера споткнулся, а Багратион заметила: «Иван Михайлович обожает примитив, вот маски, вот топоры – из Африки привозим». И то, как она сказала «привозим», а не «привезли», то есть показала, что делают они это постоянно, запомнилось Струеву. Вот и блузка, вот и лифчик Багратион, лежат на полу; он вчера их снял с Алины сразу же, как только они переступили порог, и кинул на кресло, но не докинул. Он вообще терпеть не мог долгих ухаживаний и робких касаний. Он всегда делал все сразу и быстро, не дожидаясь, пока женщина станет вздыхать и говорить волнующие нежности. Он ненавидел нежности. Особенно же боялся Струев, что Багратион назовет его Сенечкой и все испортит, у него сразу пропадет желание. Вчера, когда они, перейдя дорогу от дверей выставочного зала, оказались в ресторане, Алина Багратион села подле него и сказала: «Всякое большое дело должно скрепиться преступлением». – «Вы так правда думаете?» – спросил Струев, думая о другом. «Как же иначе? Дело прочно, когда под ним струится кровь». – «Верно». – «Вашей команде чего-то не хватает. Вы будто бы революционер, а все-таки не вполне вне закона. Перестроить все и выстроить заново можно, только объединив всех участников общим грехом». – «Толкаете меня на преступление, Алина?» – «Вы разве не видите?» – «Подделки или свержение существующего строя?» – «Начать надо с прелюбодеяния». После этих слов Струев встал и подал даме руку. Он уже не смотрел по

сторонам и не старался отыскать в толпе Лугового, проверить, следит ли старик. Вышли на улицу, остановили такси. Как и всегда, когда приходила пора действовать, Струев действовал автоматически, не задумываясь. «Поедем ко мне, – сказала Багратион (а он уже задрал ей юбку до пояса) и дала водителю адрес, – у вас ведь и ванной приличной, наверное, нет». – «А у вас, Алина Борисовна и Иван Михайлович, есть ванная?» – думал Струев, распахивая четвертую дверь. Это оказался кабинет Лугового, но хозяина в кабинете не было.

На широком столе лежали стопки исписанных бумаг, книги, некоторые из которых были раскрыты, документы, издавна производящие впечатление приходно-расходных ордеров. Струев шагнул в комнату, чувствуя себя вором. Подчиняясь мальчишескому, стыдному, но неостановимому желанию, он принялся перелистывать страницы книг и копаться в документах. Он не смог бы объяснить, зачем это делает, что ищет, но отказаться от этого было выше его сил. Попасть в квартиру к видному партийному деятелю, переспать с его женой, проснуться в его постели и залезть к нему в тайные бумаги – какое чувство могло быть острее. Это острое чувство шпиона в резиденции врага вскоре сменилось на достаточно неприятные ощущения бедного мальчика из деревни, попавшего в богатый дом. Предметы, которые он брал в руки: бронзовое пресс-папье с фигуркой Дон Кихота, иностранная тяжелая ручка «Паркер», нож для разрезания бумаг с костяной рукояткой – были для него непривычно роскошны. Старые издания, которыми был небрежно завален стол, были ему недоступны по ценам, он видел такие в запертых шкафах букинистов, но ни разу не попросил даже посмотреть. Дистанция меж ним, Семеном Струевым, художником, признанным на Западе и обожаемым московской интеллигенцией, и партийным чиновником, которого и по имени-то мало кто знает в России, не говоря уж про границу, вдруг сделалась для него болезненно ясной. Он вдруг увидел себя со стороны: жулика, залезшего в чужой дом, любовника чужой жены, карманного воришку. Но он ведь сам ко мне вчера пришел, успокаивал себя Струев, он пришел на мою выставку, а значит, пропасть меж нами не так велика. Я вполне мог бы попасть в этот кабинет иным путем – скажем, позвал бы меня Однорукий Двuruшник в гости. Почему бы нет? Разве не мог я прийти на Малую Бронную, ну, допустим, по делам – есть же дела, которые я мог бы с ним обсудить? Но Струев и сам знал, что никогда бы не попал в этот кабинет, что вошел сюда не по праву.

Человек, который несколько десятилетий подряд решал судьбы советского изобразительного искусства и который был назначен сейчас советником главы русского государства, жил красиво и покойно. Причем покой, разлитый в квартире, был устойчивым, не преходящим, но ежедневным, надежным покоем. Предметы мебели в кабинете были устойчивые и, видимо, очень удобные в использовании; Струев хоть никогда и не увлекался историей стилей, полагая (вместе с большинством современных художников), что избыточные знания препятствуют созданию оригинального направления, опознал в мебели «модерн», стиль начала века, любимый дореволюционными богачами. Кресла были с резными ножками в виде львиных лап, на подлокотниках – воинственные грифоны; стол поражал воображение – столешница изогнута штормовой волной, и из этой волны мореного дуба выдвигались ящики. Все предметы были отполированы прикосновениями и поглаживаниями, и действительно было очевидно, что они удобны и их хочется гладить. И даже пол был особенный, старорежимный: составленный из широких половиц, темный, с медными полосками, вставленными по периметру комнаты и поблескивающими деликатным неярким светом. Струев даже и не стал сравнивать эту комнату с хрущобами, где рос, он даже и не сказал себе, что хозяин этих апартаментов, человек, чьей задачей и профессией было убеждать других в преимуществах социалистического образа жизни, сам вел жизнь на манер купцов, репрессированных Советской властью. Он лишь подумал о том, сколько секретов хранит этот кабинет, и стал открывать ящики один за другим, сам не зная, что ищет.

Он перевернул бумаги на столе и в ящиках стола: конспекты лекций в университете, где Луговой формально числился деканом (неужели сам писал? наверняка нет), два подготов-

ленных выступления в Президиуме Академии (здесь видно три почерка), записку в Министерство образования (на машинке, диктовка), билеты в Большой театр (они, точно, любят балет), билеты на самолет иностранной авиакомпании (куда – не посмотрел), список из фамилий, расположенных столбиком, некоторые были подчеркнуты, а некоторые вычеркнуты. Струев с минуту смотрел на эту бумагу. Подобные списки вел Захар Первачев, регулярно отмечая имена тех творцов, что сыграли роль в освободительном художественном движении России. Первачев последовательно вносил имена отличившихся художников, деля их по степени причастности и преданности общему делу. Когда-нибудь эти имена, кричал Первачев, потрясая своим списком, высекут на мраморе, да! Вот они, люди, строящие новое сознание мира, все здесь! И он размахивал списком, как флагом. Фамилий художников в списке Лугового не было, но зато были фамилии правительственных чиновников, те фамилии, какие обыкновенно встречались в газетах. Следом шла бумага, на которой в общих контурах была изображена территория России, эта территория была поделена на неровные части, иные были заштрихованы. Части эти были обозначены буквами, скорее всего инициалами, первыми буквами имен, например В. Р. или М.; некоторые инициалы встречались чаще других. Поскольку границы, проведенные на бумаге, отвечали некоему принципу территориального деления, легко было предположить, что каждая часть России отписана конкретному человеку. Было видно, что люди, исчеркавшие лист, боролись за каждый сантиметр территории – но преимущественно на востоке страны. Так, на самом востоке России, там, где предполагалась Сибирь, частей было значительно больше, чем на западе страны, и инициалов было тоже больше. Иногда они не помещались на отведенной им части, и тогда инициалы выносились стрелкой на поля. Следующая бумага была вся в цифрах, и цифрах весьма крупных – с шестью нулями, с семью, с восемью. Струев только додумался сравнить инициалы со списком фамилий, который держал в руках прежде, как сзади него раздался голос Багратион.

– Я накрыла на кухне, видимо, ошиблась. Мужчины предпочитают завтрак в кабинете, – и Алина Багратион, в красном кимоно, не запахнутом на груди, пересекла кабинет и склонилась над бумагами, причем ее груди свесились в разрез кимоно и раскачивались в такт словам. – Ах, эти глупые расчеты. Мужские игры, в которых я мало, увы, понимаю. Делят нефть, газ, минералы. Недра Родины никому не нужны – иди и бери. Вы в это не играете, Семен, и правильно делаете, искусство – игра более захватывающая. Вы утром кофе пьете?

– Да, – сказал Струев, – кофе.

– Тогда приходите на кухню. А ванная – третья дверь налево.

III

На кухне Алина стремительно готовила кофе – молола, засыпала в кофейник, ставила на огонь.

– Поглядите только, Марианна Карловна совсем не убирает. Помойку не выносит, гордая особа. Как жить прикажете? До нее была Марья Терентьевна – золотая женщина, но она эмигрировала. Уехала к внучке. Виданное ли дело – на старости лет подалась в Канаду. Я постаралась объяснить глупенькой, что таких условий, как у нас, в Торонто не найдешь. На всем готовом, полгода на даче, ах, что говорить. Люди ищут счастья, не зная, что оно у них в руках.

– Ну и как она там? – равнодушно спросил Струев.

– Кто?

– Марья Терентьевна, там, в Канаде.

– Повесилась, – Алина сняла кофейник с огня. – Внучка ее, кажется программистка, потеряла работу, муж выгнал. Где-то они там ютились. Какое-то пособие было, конечно. Я плохо об этих грошовых спекуляциях осведомлена – какие-то бумаги неверно заполнили, чего-то там им недодали. Бюрократия, как везде.

Струев хмыкнул и ничего не сказал. Сказать было нечего.

– Не забыть бы попросить вас, как пойдете домой, вынести помойку. Прихватите пару пакетов в коридоре – ладно? – и выбросьте их в контейнер у черного хода, хорошо?

– Хорошо, – машинально ответил Струев. Перед его глазами все еще были столбцы цифр. Эти цифры казались ему непомерно огромными. Они и были огромными. Они ошеломили его.

Струев не знал и знать не мог устройство государственного аппарата, как там у них распределяется власть, кто от кого зависит, кто что подписывает и т. д. Он понял только, что допущенный на самый верх Луговой вместе с другими такими же пробившимися наверх людьми делил крупные суммы денег – а откуда эти деньги образуются, было непонятно. Многие в те времена говорили о пресловутых деньгах партии или о приватизации месторождений, но в таких вещах Струев и при желании не смог бы разобраться. Он мог лишь сравнить свои собственные заработки с этим размахом и, сравнивая, опять испытал чувство мальчика из бараков, пролезшего в господский дом. Поставить рядом с этими цифрами доходы художников было не то что невозможно, а просто смешно. Еще вчера он слышал, как Пинкисевич с Гузкиным обсуждали возможности продаж с выставки. «Хоть бы "Пустырь-Два" купили, – говорил Пинкисевич, – ну, не по западным ценам, конечно, – Пинкисевич солидно наклонял голову, как человек привыкший к западным ценам, но делающий нынче уступку, – согласен и на отечественное жульничество. Пусть, ладно! Хоть тыщонку бы дали, суки, и то хлеб». Гузкин отвечал ему: «А твои контракты? Закупки есть?» И то, как они оба произносили слова «контракты», «закупки», показывало их полную неосведомленность в денежных делах. Струев снисходительно слушал их. Его собственные картины, о чем Пинкисевич не знал, давно стоили дорого, и он умел их пристроить. Струев привык последние годы к чувству, что он богатый человек – картины его продавались по всей Европе, ему приходили письма от галеристов с копиями денежных переводов. Секретные счета, открытые им в Швейцарии и Лихтенштейне, пополнялись регулярно. Это пугало его (как все советские люди, он боялся нелегальных операций с валютой) и одновременно давало уверенность. Он понимал, что рано или поздно покинет эту страну и сбережения дадут ему возможность безбедной жизни. Открыть счета в надежных банках ему рекомендовали люди знающие: иностранные корреспонденты, богатые коллекционеры. Счета были даже не на имя Струева, но номерные, чтобы советские чиновники их никогда не нашли, и Струев полагал себя надежно укрытым. Помимо прочего, эти счета были реваншем за долгие годы бедности в России, когда ему не платили гонораров, не выставляли; он сводил счета с ограбившей его системой: зарабатывал деньги, которые должны поднять его над партийной номенклатурой. Когда-нибудь карты откроются, и он покажет им, где они и где он. Он работал, и зарабатывал, и откладывал деньги не потому, что был жадный, но потому, что давно понял: в этом мире деньги – свобода. Он каждой новой цифрой на своем секретном счете отбивался от долгого рабства. Ему представлялось, что он роет длинный подкоп, выгребает по лопате и когда-нибудь выйдет на воздух. И вдруг он за одну минуту понял, что вся его копеечная стратегия не значит ровно ничего рядом с сотнями миллионов, которые передвигались вдоль небрежно нарисованного тела России сухонькой ручкой чиновника. Старик, единственной своей рукойдвигающий эти гигантские суммы из конца в конец карты, старик, в чей кабинет он проник тайком, чью жену сделал своей любовницей, в чьей постели он спал сегодня ночью, заставил его, Струева, чувствовать себя униженным и неполноценным. Все усилия вырваться из постылой иерархии, изменить ход вещей, сделать, как пелось в революционной песне, чтобы те, кто был никем, стали всем, – все эти его усилия были нелепыми беспомощными трепыханиями рядом с тем, что делалось в реальности. И самым унижительным было то, что обыгрывало его опять все то же партийное начальство, что и раньше унижало и обкрадывало его. Длинный подкоп, который он в поте лица своего вырыл, вывел его в ту же самую камеру, и тот же сторож, что закрывает камерную дверь, закрыл и дыру его подкопа, плод его многолетних усилий. Струев приучил себя быть спокойным человеком, не давать эмо-

циям ход, но теперь он испытал что-то вроде потрясения, грудь ему сдавило обидой. К тому же история про домработницу Марью Терентьевну показалась ему рассказанной специально, словно про него самого. В Торонто захотел уехать? А в петлю не хочешь? Он скривился, оскалился, отхлебнул кофе. В конце концов, ему уже было почти сорок лет, и он привык проигрывать. Он знал про себя, что он настолько привык проигрывать, что сделался непобедим.

– Я слышала, – говорила меж тем Багратион, – современные художники прекрасно зарабатывают. Вы, Семен, уже, наверное, миллионер. Украдите меня и покатайте на яхте.

Струев оскалился в улыбке и пообещал непременно это сделать. Он спросил, в какие порты она хочет зайти? Средиземноморье? Алина рассказала, что веснами они именно в тех местах и гостят: в Тоскане, на очаровательной вилле, окруженной цитрусовыми садами и оливковыми рощами. Струев слушал, как знакомый супругам барон выращивает виноград и делает собственное вино, совсем неплохое; как другой приятель Лугового обустраивает замок в Бава-рии; как преданы искусству знакомые Лугового, как мечтают они собрать коллекции русского авангарда.

– Я связана с миром искусств с юности, – продолжала говорить Алина, – не могу представить дня, проведенного вне искусства.

Она рассказала, что первым мужем ее был грузинский скульптор, академик и лауреат. Багратион по мужу, она в девичестве носила купеческую фамилию Самолетова и жила в раскулаченной бедности. Вы, Семен, даже не знаете, что такое бедность. Я знаю. Наголо стригли, сказала Алина и тряхнула роскошными волосами, а то бы завшивела вся. Впрочем, добавила она, фигура всегда была хороша. В юности она позировала для грузинского художника Георгия Багратиона, прославленного портретами Сталина, но для души ваявшего обнаженную натуру. Пожилой скульптор с воодушевлением создал галерею образов юной подруги, женился на ней. «Они, реалисты, не дураки, – и Струев поглядел на грудастых вакханок, украшавших кухню, – понимают в жизни. Это тебе не инсталляции Осипа Стрёмовского». Грузинский мастер лепил прилежно, смакуя подробности: бронзовые девушки стояли по всей квартире, отставив попки и выпятив лбки. Самая непристойная скульптура, та, где молодая Алина была изображена на четвереньках, стояла в спальне. «Вы не изменились, Алина», – сказал Струев. Вчера ночью Струев вдохновился этой скульптурой и поставил Алину на четвереньки. Он входил в нее, а сам думал про Лугового. «Видишь, Двuruшник, – думал он, двигаясь в Алине, и с удовольствием представлял лицо Однорукого Двuruшника, – видишь, как я твою бабу натягиваю». Сейчас эта победная мысль уже не посетила его. Он не чувствовал уже победы в том, что наставил Луговому рога, и радость, возникшая оттого, что он унизил партаппаратчика, не будоражила его больше.

Манера Алины Борисовны наутро после близости с мужчиной говорить ему «вы» удивила Струева. Ночью они, очевидно, перешли на «ты», но Алина вела себя так, словно того, ночного, вовсе не было. Вот это да, думал Струев, вот это школа.

Алина Багратион была рослая красивая женщина, с большой грудью, крупным задом и длинной шеей. Возраст ее угадать было нельзя, она не изменилась за последние двадцать лет, в течение которых считалась первой красавицей Москвы. С годами ссохлась кожа у губ и глаз, но благодаря обилию кремов и пудры это было незаметно. Она потяжелела, но это было красиво: ее манера двигать тяжелым налитым телом, точно борец, который медленно перекачивает мышцы перед боем, делала ее толщиной притягательной. Она много спала, часто отдыхала, хорошо питалась, и время не тронуло ее. У нее регулярно бывали любовники, и она полагала их присутствие в жизни необходимостью; они выполняли свою нужную функцию – как крем от морщин или домработница. Ей всегда казалось, что она настолько хороша собой, что у нее нет возможности вести себя иначе – это будет противоестественно. В известном смысле она поступала только так, как ее вынуждала поступать редкая красота, она была как бы заложницей своего тела, и в этом не было дурного, поскольку тело было прекрасно. Особенно она ценила

свою гладкую и мягкую кожу и каждого любовника спрашивала, нравится ли ему ее кожа. Она спросила вчера и Струева. Кожа и впрямь была исключительная.

Но этим не исчерпывались качества Алины. Наряду с физической гармонией она обладала и нравственной, поскольку была крайне добрым человеком. Она всегда всем делала только хорошее: отзывалась о других людях благожелательно, хорошо ухаживала за мужьями и любовниками, дарила подарки подругам, превосходно организовывала обеды и праздники. Она и физическую красоту свою воспринимала как подарок миру – она ведь делала усилия, поддерживая ее, и предъявляла ее для украшения мира. Она была уверена, что если человек поступает по отношению ко всем хорошо, то и ему вернется одно хорошее. И она совершенно не удивлялась, что жизнь отдает ей взамен за красоту и доброту – богатый дом, дорогую одежду, интересные поездки, драгоценные украшения, достойных любовников. Она считала, что заслужила это, по справедливости распорядившись своими природными качествами, и по-другому быть не могло бы.

Не считая, что совершает нечто особенное, она посылала бывшей домработнице в Канаду зимнее пальто на меху и цветные посадские шали. Шофер отвозил посылки на главпочтамт, за месяц они доходили до Канады. Марья Терентьевна, сидя на тесной кухне в пригороде Торонто, где за окном серые от холода негры весь день били мячом в стену гаража, плакала, глядя на эти посылки. Она трижды прокляла себя, что бросила этот надежный рай на Малой Бронной улице. Когда пришла пора, Алина отослала деньги на похороны, и дочь бывшей домработницы ответила ей слезливым письмом с новыми просьбами и истратила деньги на лотерею, в которой проиграла.

– Знаете, Семен, художники, особенно те, которые прошли через лишения в юности, на редкость восприимчивы к красоте мира. Французский мастер Ле Жикизду (вам знаком этот новатор?) нам рассказывал, что в юности питался одними оливками.

– Я в Москве тоже знаю людей, питавшихся в юности одними оливками, ну разве иногда немного манны небесной, – заметил Струев. – Зато теперь им трех отбивных мало. Например, отец Николай Павлинов, знаете, Алина, сколько он может съесть? Помимо оливок и манны.

– Ах, наш милый отец Николай. Вы знаете, как он трудно рос. Бедный, нищий студент семинарии. До недавнего времени ни разу не ездил за границу. А всегда мечтал посмотреть корриду.

– Вот что поистине необходимо православному попу, – заметил Струев, – так это видеть корриду.

– А как он любит средиземноморскую кухню. Отец Николай – подлинный ценитель крабов и лобстеров. Разве справедливо, что он всего этого был лишен? Немудрено, что сейчас ему хочется хотя бы частично возместить упущенное в юности.

– Он наверстает, не сомневайтесь. В день два раза обедает.

– Батюшка, конечно, любит покушать. Однажды мы брали его на дачу в Переделкино. Вы, кстати, не хотите в пятницу поехать? Будут интересные люди. Я запекла в тот день баранью ногу, и отец Николай один все съел. Я даже и не попробовала, не знаю, вкусно ли получилось. Мы так смеялись, но ведь плохого здесь нет вовсе. Иван Михайлович говорит, что это очень по православному. Сейчас, – прервала себя Алина, – я познакомлю вас с интересным человеком, Семен. Слышите шаги? Не пугайтесь, это не Иван Михайлович – муж с вечера уехал на совет к Горбачеву, теперь ведь страну делят по ночам.

– Работаем ночью, как Сталин? Незабвенные традиции? Пир победителей?

– Ничего общего. Я хорошо представляю себе эти скучнейшие грузинские застолья. Моя юность прошла на так называемых восточных пирах. Нищета, милый Семен. Безвкусица и нищета. Сидел отец народов ночью в бункере, кутался в шинель, тянул кислое кахетинское. Это не жизнь, Семен.

– Иван Михайлович в бункере не сидит?

– Что вы, он любит Переделкино. Бывали? Мы соседи Пастернакам. Иван Михайлович сосны любит.

– И кахетинское не пьет?

– Иван Михайлович пьет Шато Брион.

IV

Струев не успел поинтересоваться, что это за вино. В кухню вошла старуха. Длинное черное платье до полу; на костлявой груди зеленый накрахмаленный бант; она шла, откинув голову, неторопливо переставляя сухие ноги.

– Ах, Марианна Карловна, вот и вы, – сказала ей Алина Багратион. – Наш гость уже взялся сам помойку выносить. Если вам тяжело убирать, вы так и скажите. Вы устаете, бедная.

– Я, Алина, – степенно произнесла старуха, не отвечая на вопрос и глядя на Алину змеиными глазами, – с нашим гостем утром увиделась, но представлена не была. Вы наконец решились нас познакомить. Вы – художник? А стоящий ли? Вот главный вопрос.

– Весьма дорого стоящий, – весело сказала Алина.

– Сколько стоит – безразлично, величие купить нельзя. Великие – это те, кто умирает за славу. Устаю ли я? Даже когда поднимала бойцов в атаку в предместьях Мадрида, не чувствовала усталости. Усталость пришла теперь, когда за мной никто не идет. Позади пустыня. От этого тяжело. Да.

– Понимаю, – сказал Струев.

– Вы знать этого не можете. Вы разве ходили в атаку?

– Семен Андреевич регулярно ходит в атаки, – заметила Алина кокетливо.

– На защиту правого дела, надеюсь? По зову чести?

– Марианна Карловна стоит на страже чести нашего дома, – заметила Багратион.

– Честь, – отвечала старуха, – уберечь невозможно. Честь отдают – а, значит, не берегут. Стою на страже, да. Но я сторожу не честь. Я всегда повторяю Алине: пока в силах, дари себя людям. Отдавай честь. Красота должна служить обществу.

Струев хмыкнул.

– Идите к себе, Марианна Карловна, – сказала Алина. – Я позову, если надо будет, – и Струев с удивлением отметил, что барственная Алина как будто ревнует к старухе и хочет ее спровадить.

– Непременно, Алина. Даже на передовой я находила время для освежающего сна. Но я хочу говорить с вашим кавалером. Искусство с юности меня волнует. Еще в Киеве, замужем за тогдашним комиссаром просвещения, я не пропускала ни одного вернисажа. Какие имена! Стремовский! Красавец, умница, слышали про такого?

– Осип Стремовский? – оскалился Струев.

– Его сын Ося играл у нас на ковре. Муж давал ему играть «парабеллумом». Занятно было видеть ребенка с оружием в руках. Я говорила ему: милый Ося, пойдешь ли ты сражаться на баррикадах? Он кивал и надувал щеки. Интересно, добрался ли этот полненький мальчик до баррикад? Каждый должен найти свою баррикаду, чтобы умереть на ней. Отец Оси был крупной фигурой в художественной жизни Киева. Про себя он говорил, что принял вызов времени. Как он оформлял парады! Вы не оформляете парадов?

– К сожалению.

– Напрасно. Что может быть важнее? К чему радовать взгляд одного, если можно доставить счастье многим? Не правда ли, картина как таковая давно умерла? Зиновий Стремовский, отец Оси, еще в Киеве мне говорил, что плоскость отжила свое. Пришло время другого искусства, не так ли?

– Да, – ответил Струев, – так и есть.

– Рада, что наши взгляды совпали. Вопрос в том, какое искусство придет на смену картине? Парадов не оформляете, а что вы тогда оформляете?

– Семен – певец свободы, – сказала Алина Багратион.

– Нет ничего тяжелее свободы, – вздохнула старуха. – Рабам платят, а за свободу приходится платить самому. В годы нашей юности мы имели ясные представления на этот счет. Любопытно, как рассуждают сегодня. Вы за что-нибудь расплачиваетесь? Или – сами денежки получать любите?

Струев хотел пошутить, но шутка не шла на ум. Хотел сказать, что если он расплачивается в ресторанах, то за искусство пусть платят повара, но реплика показалась ему глупой.

– Не знаете, что сказать, – промолвила старуха, – и неудивительно. Теперь не принято знать. И парады оформлять не принято. Парады должны сметать остатки старого строя. Безжалостно, твердо. Вы умеете так?

– Режим решил уйти сам, – сказал Струев, – остается посмотреть, как он уходит.

– Какой режим? – спросила старуха подозрительно. – Я не согласна ни на какой режим. Вы доктор или художник? Не потерплю врачей. Я предупреждала: если мне захотят навязать режим, я не сдамся. Запомните это.

– Я имею в виду прошлое. Прошлое уходит само.

– Прошлое не уходит само. Его убивают и хоронят – ради блага живых. Так однажды убили меня и мое поколение. Впрочем, я не до конца умерла. Здесь, – она тронула плоскую грудь под бантом, – здесь я давно мертва. Но голова моя жива и мысли ясны. Я должна прожить ровно столько, чтобы сделать свои мысли достоянием многих. Иногда я делюсь взглядами с Иваном Михайловичем. Извлекает ли уроки?

– Уверена, что да, – вздохнула Алина.

– Я вздремну, Алина, а к обеду выйду вам помогать. Мы приготовим Ивану Михайловичу настоящий латиноамериканский обед, во вкусе Фиделя. Только партизаны знают настоящие рецепты. Вам скажут в Париже, что они знают, как готовить. Не верьте: только партизанская кухня имеет вкус. Остальное – трава для скотов. Я помню несколько ошеломляющих рецептов.

Старуха поправила бант на плоской груди, двинулась прочь из кухни. На пороге она царственно повернулась и низким голосом добавила:

– Мыши веселятся, когда кошка ложится спать. Но веселятся недолго.

И, произнеся эту странную реплику, вышла, тяжело и медленно двигая сухими ногами.

– Она сумасшедшая? – спросил Струев.

– Просто привидение. Не верите? Тогда скорее выгляните в коридор, я вас прошу, – там никого уже нет. Она растворилась.

– Верно, я утром встретил старуху, а потом она растаяла в воздухе.

– Иногда она растворяется прямо в комнате. Была – и нету.

– А появляется она, – сказал Струев, – я полагаю, в полнолуние.

– Появляется всегда неожиданно, надо ждать всякую минуту. Обыкновенное домашнее привидение, но мирового значения, знаете ли. Мы держим у себя призрак ушедшей эпохи. Бродил призрак коммунизма по Европе, а на старости лет поселился у Ивана Михайловича Лугового. Вы боитесь привидений?

– Гостей пугаете? – спросил Струев.

– Иван Михайлович любит гостей дразнить. Немецкого посла, фон Шмальца, она до полусмерти напугала рассказами про Эрнста Тельмана. Рот фронт, говорит, Ганс! Ох, а что было с отцом Николаем! – и Алина засмеялась, качая грудями. – Марианна Карловна сказала ему, что Бога нет, назвала его зажавшимся лицемером и пообещала отправить на Соловки. Лопату тебе в руки, попик! Батюшка чуть не подавился бараньей лопаткой. Весь аппетит пропал.

– Откуда она у вас?

– Иван Михайлович с последним ее мужем дружил. Вместе начинали, инструкторами ЦК. Но тот в зрелые лета размяк, стал либеральничать, отказываться от карьеры. Был фигурой, а стал пенсионером-алкоголиком. Она его тут же бросила. Он и умер от пьянства.

– А дальше?

– Где-то она прожила лет десять. По посольствам, полагаю, – Куба, Чили. Иван Михайлович ее нашел, взял в дом. Вот подобрали мне компаньонку. Иван Михайлович гордится ею как фамильным привидением. Специально заводит гостей в ее комнату, чтобы напугать.

– Сколько ж ей лет?

– Угадайте.

– Восемьдесят? Больше?

– Сто.

– Вы шутите. Это неправда.

– Неправда, действительно. На самом деле старухе уже сто пять. Она принимала участие в легендарном съезде большевиков в Лондоне в девятьсот третьем году, ей уже тогда двадцать три года было, всю романы крутила. Вот и считайте.

– То есть родилась в восемьсот восьмидесятом. Как Пикассо, – уточнил Струев машинально, – но это невозможно.

– Отчего же? Пикассо тоже был ее любовником. Полистайте альбомы – полно ее портретов. Но и без него хватало народу. – В устах Алины фраза прозвучала не обвинительно, но уважительно. – Четыре мужа, три партии, два гражданства. Работа призраком – дело бессрочное, на пенсию не отпустят. Марианна Карловна Герилья – настоящий призрак коммунизма.

– Какая странная фамилия.

– Это псевдоним. Герилья – партизанская война по-испански. Марианна до сих пор воюет. Бродит по квартире, успокоиться не может. Знаете, как воет она по ночам. Волком воет. Страшно даже, а вдруг укусит. Я однажды заглянула в ее комнату ночью, а она стоит у окна и воет на луну.

– Быть не может.

– Уверю вас. Энергия бесовская. Начиная девочкой в Донецке, убила губернатора. Про это фильм сняли, не помните? Потом – Женева, потом – Лондон, потом проехала Латинскую Америку как представитель Коминтерна. Основала компартию в Аргентине. Витторио Кадавильо, Долорес Ибаррури – все ходили на ее лекции. Из Латинской Америки уехала в Германию – к Тельману; оттуда – в Испанию, на войну; оттуда – в Киев. Кажется, ездила в Гавану, не уверена. Но Че Гевара – ее любовник, не сомневаюсь. Во всяком случае, пикантная фотография имеется. Теперь живет у нас. Иван Михайлович гордится нашей квартирой, как английский лорд замком с привидениями.

– Еще бы, – сказал Струев, – и собаки не надо дом сторожить.

– Какие собаки! Был у нас доберман, Цезарь, страшный пес. Иван Михайлович его из Берлина выписал. Так Цезарь по стеночке ходил, голос подать боялся. Чуть старуха в коридор, пес жмется к ногам, скулит.

– Что вы говорите.

– Под подол мне залезал. А она стоит посреди коридора и смотрит мне на подол. И молчит. А песик дрожит, ходуном ходит.

– Подумайте.

– А потом сдох. Утром выхожу на кухню – лежит песик, голову лапами прикрывает. Потрогала – а он уже окоченел.

– Отравила?

– Да нет, от страха песик помер. Посмотрела пристально – он и сдох. Революционеры – они страшные. Знаете, иной раз выйдет на кухню, ничего не говорит и смотрит на меня, смотрит. Глядит и не моргает. Хорошо, я не песик.

– Профессиональный революционер, – сказал Струев, – я думал, это выдумки, не было таких в природе.

– Она-то как раз настоящая, не то что вы, московские заговорщики. Бутылка водки и грязный свитер. Ваша игра в подпольщиков – это все так, баловство. Пока в угол не ставят, и ладно. Диссидентские посиделки, Семен, разве это мужское дело?

– А нужна кровь?

– Поступки нужны, дела.

– Революционные или любовные? – Струева задело, что его мужская статья под сомнением.

– Разве это разделишь, милый Семен. С первым мужем Марианна была бомбистка, взорвала губернатора Пегасова, со вторым стала теоретиком коммунизма в Буэнос-Айресе, с третьим сделала солдатом в Испании, в штабе генерала Малиновского. Уже оттуда отправилась в Киев – к четвертому супругу. Что было с Че и Фиделем – не знаю.

– И теперь никаких мужчин?

– Отчего же? А Соломон Рихтер – чем не мужчина? Тот, что вчера речь держал. Он в этой самой квартире на коленях стоял. Я говорю: Марианна Карловна, зачем вам этот мальчишка? Сопли ему вытирать? Стрелять он не умеет, шифровке не обучен. Знаете, что она ответила? Из парня может выйти толк. Вот какие чувства наша бабушка вызывает. Вы, например, Семен, встать на колени могли бы?

– Только вместе с вами, Алина.

– Ах, вы имеете в виду позу Венеры Каллипиги.

Струев про упомянутую Венеру слышал впервые, но, судя по тому, как Багратион прогнулась в поясице, догадался, что речь идет о любовной позе.

V

Алина смотрела на Струева, поглаживая голую ногу. Струев понял, что она ждет, когда они опять лягут в постель, но его привычки не разрешали этого. Ночь кончилась, и надо уходить. Он встал. Поднялась и она, запахнула кимоно. И вновь Струев почувствовал, что между ними ничего никогда не было: он просто бедный мальчик, пришедший в богатый дом попробовать кофе на кухне.

– Ах, не забыть вам помойку дать. Возьмите, Семен.

Держа в каждой руке по пакету с мусором, по мраморной лестнице Струев спустился вниз, в парадное. В холле, отделанном колоннами, за маленьким столиком сидел охранник в камуфляжной форме. Не какая-нибудь пенсионерка-консьержка, а мордастый мужик с красной шеей, с пистолетом в кобуре. Перед охранником стоял стакан чая в подстаканнике, лежал журнал, куда охранник вносил пометки. Ну и дом, подумал Струев, живьем съедят. Жилец, прошедший впереди Струева, кивнул охраннику, и тот фамильярно улыбнулся. «Что-то поздно сегодня, Тофик Мухаммедович». – «Да, задержался». Охранник проводил жильца умильным взглядом, посмотрел благосклонно, как тот усаживается в огромную машину с темными стеклами.

Струев задержался в парадном, разглядывая мраморный пол, колонны, витражи на лестничных окнах.

Охранник окликнул его:

– Вы, значит, теперь ходите в двенадцатую убирать? Пропуск на какую фамилию выписывать? Каждый день будете ходить или через раз? В помощь Марианне взяли?

Струев раздраженно повернулся к нему, и охранник отшатнулся. Он увидел перед собой бледное злое лицо, сведенные в щели глаза и оскаленный в странной гримасе рот с неровными желтыми зубами.

– Убирать не будете, так и скажите, а кричать на меня нечего, – заметил охранник.

Струев так и не произнес ни слова, он толкнул резную дубовую дверь и вышел на Бронную улицу; палило солнце; был нестерпимо жаркий день московского лета, и мальчишки, раздевшись до трусов, бегали вокруг Патриаршего пруда. Струев прошел вдоль дома, неся в руках пакеты с мусором, остановился у помойных баков.

Он оглянулся на дом. Роскошный, серый с голубым, значительный дом покойно стоял над прудом, и солнце ломало свои лучи о его широкие безмятежные окна.

– Проклятая страна, – неожиданно для самого себя сказал Струев и сплюнул.

Эту реплику его услышал мальчик Антон, младший брат Лизы Травкиной. Антон со сверстниками, мальчиками двенадцати лет, приехал на Патриаршие пруды после школы, и они носились теперь вдоль воды, побросав сумки с книгами. Антон немедленно узнал Струева: Лиза часто брала его на подпольные, однодневные выставки и показывала Струева издаleка. Мальчик подошел ближе и с обожанием смотрел на волчье лицо легендарного художника. Художник держал в руках два пакета и вдруг с силой швырнул их в мусорный бак и плюнул на землю.

– Проклятая страна, – сказал в сердцах Струев, и Антон услышал эти слова, и эти слова запали в его сердце.

3

Создание картины начинается с создания поверхности, на которой картина будет написана. Сегодня существует убеждение, будто писать можно на чем попало, буквально на всем, что подвернется под руку. Это, разумеется, физически выполнимо – почему бы и нет? Однако один из основных законов искусства заключается в том, что произведение искусства возвращает в мир ровно столько энергии, сколько было истрачено на его создание. Иными словами, если писать на чем попало, то и получится что попало. Результат, то есть сама законченная картина, прямо зависит от материала, который служит основой, от качества поверхности этого материала, от состава грунта, которым покрыта поверхность. Исходя из сказанного, необходимо подойти к приготовлению холста с той же тщательностью, с какой подходят к выбору сюжета. Творчество начинается не тогда, когда художник берет в руку кисть, и даже не тогда, когда он выбирает краски для палитры, но тогда, когда он определенным образом готовит поверхность для своей картины. Именно это в конце концов определит характер живописи.

Кисть по-разному реагирует на гладкий, шлифованный меловой грунт, каким покрывают доски, или на густой, шершавый грунт, которым обыкновенно заканчивают покрытие крупнозернистого холста, или на блестящий, отполированный пемзой верхний слой грунта гладкого полотна. В каждом случае след, оставленный кистью на поверхности, получится разный, два одинаковых мазка, нанесенных на разные грунты, дадут противоположные результаты. Трудно представить себе, что вещи Брейгеля или Мемлинга могли быть написаны на крупнозернистом холсте (в действительности они выполнены на шлифованных дубовых досках, вываренных в льняном масле и покрытых затем тонким левкасом). Напротив, Гоген специально заказывал самый ворсистый джутовый холст для своих произведений. Рембрандт, как известно, предпочитал тяжелый крупнозернистый холст, но долго шлифовал его пемзой.

Собственно, каждый большой художник оставил рецепт своего любимого грунта, случайностей в этом вопросе не было и никогда не будет.

Короче говоря, картина является картиной еще тогда, когда художник и не начинал на ней рисовать. И Ван Гог, и Гойя видели свои картины уже готовыми, разглядывая холст, натянутый на подрамник, покрытый непросохшим грунтом.

Когда живописец готовит грунт, он имеет дело с веществами нехудожественными – работает с клеем, глицерином, мелом. Невозможно объяснить, как так получается, что это ремес-

ленное, техническое занятие делается возвышенным. Вероятно, художник должен верить в то, что любое усилие, отданное холсту, так или иначе поможет созданию образа. Впрочем, он должен думать и о практических аспектах своего занятия. Если в грунт недоложено клея, масляная краска пробьет холст насквозь, и холст сгниет. Если клея слишком много, грунт со временем потрескается, появятся так называемые кракелюры – круговые трещины в грунте, которые приводят к разрушению красочного слоя.

Если время, истраченное на картину, разделить на две части, где первая будет подготовка материала, а вторая – собственно выполнение вещи, то правильной пропорцией следует считать 2:1, то есть процесс приготовления поверхности должен забирать времени вдвое больше, нежели сама живопись. Не следует считать это время истраченным впустую – наоборот, редко когда удастся обменивать минуты и часы непосредственно на вечность.

Глава 3

Деструкция одной шестой

I

Мне стоило большого труда вести повествование от третьего лица. Даже сегодня, когда все уже случилось так, как случилось, когда все участники событий получили то, что могли получить, или то, что заслужили, даже сегодня, говорю я, спустя много лет, мне все кажется, я мог бы многое изменить, поступи я иначе, скажи по-другому. И когда я пишу свои собственные реплики и стараюсь глядеть на прошлое остранным взглядом, мне трудно примириться с фактом, что все случалось со мной на тех же основаниях, что и с другими – и с той же неотвратимостью. Думаю, и другие, если только они дают себе труд оглянуться назад, поражаются тому, как мало значила их собственная воля и как мало определяло намерение. Жизнь прошла так, как прошла, и эта простая неумолимая сентенция причиняет боль. Все получилось так, как должно было получиться, а если бы была иная возможность, то непременно получилось бы по-другому – и для чего тогда прямая речь, для чего нужна любая попытка персонифицировать происходящее, если история творится с неизбежностью, растворяя в себе людей без остатка.

Уже само наличие времени, то есть того неотвратимого, что превращает людей в старых, больных и мертвых, говорит о человеческом бессилии. Если бы человеческая история воплощалась не во времени, а в какой-то иной субстанции, тогда еще можно было бы вообразить, будто она действительно творится людьми. Но поскольку именно время является измерением истории, а именно это измерение делает человека беспомощным, то роль частной жизни и роль сильной воли сводится к коротким репликам на авансцене. Сама же пьеса играется без нашего на то разрешения: и занавес поднимаем не мы, и, что хуже, не мы его опустим.

Каких-то двадцать лет – ну что это за срок для истории, скажите на милость? – и участники событий превратились из бодрых юношей в усталых немолодых людей. Я сам, привыкший чувствовать в себе силы, теперь неохотно строю планы на будущее: мне важнее знать, что произойдет сегодня, в крайнем случае, завтра – а загадывать на пять лет вперед боюсь.

Мне ли не знать, что такое закат и смерть, если я наблюдал агонию не человека, но великой державы, огромной империи, которой пугали детей, которая мнила себя вечной?

Пришла пора, и держава полумира, страна, название которой обозначало мощь и угрозу, завалилась на бок и стала издыхать. Умирала она некрасиво. Если ты велик, если ты титан и герой, стисни зубы и умри молча. Но империя не сумела так. Ей бы отвернуться к стене и без стога, без крика отойти. А она каталась по суглинкам и супесям, билась в истерике, умирая, и смотреть на это было противно. Скажут, что это судьба любой империи: все они, некогда величественные, обратились в прах. Разумеется, это обстоятельство могло бы утешить граждан, но мало кто отвлекался на обобщения. Страна обвалилась внезапно, вместе с ней жизни и судьбы пришли в негодность. Неверно будет сказать, что люди погибали под обломками, нет, жизнь, разумеется, шла. Люди по инерции продолжали строить планы на лето, обсуждать ремонт в квартире, отправлять, что называется, будничные потребности, но постепенно в их сознание проникла мысль, что все это как-то ни к чему. Это сознание было тем более странно в гражданах, что они и всегда-то жили не в полной мере, жили, но как-то не совсем. Они привыкли, выражаясь банально, быть материалом для строительства империи, и оттого порой казалось, что жизни отдельной и вовсе нет. Иными словами, чувство умирания посетило не деятельный организм, но, напротив, – апатичный. Казалось бы, переход от полусонного состояния к вечному сну должен пройти гладко, но получалось иначе. Последние годы существования импе-

рии запомнились нелепой суетой. Человеку свойственно суетиться, но здесь суеты было явлено сверх обычного. Все было как-то дергано, непоследовательно, истерично. Люди устраивались на работу и тут же увольнялись, покупали квартиры и тут же их продавали, добивались постов и затем эмигрировали, возвращались из эмиграции и уезжали путешествовать, брали деньги займы и откладывали их на черный день. Произошло уже много непоправимого, а люди все ждали худшего и суетились, готовясь к грядущей беде. Собрания, крики – каждый день с утра до ночи, и что-то вот-вот должно произойти, но не происходит. Здесь мне возразят, что это естественно: судороги – явление обычное, когда организм умирает. Оригинального здесь мало – никакая смерть не оригинальна, не оригинально и то, что иные принимали судороги агонии за родовые муки, смерть – за рождение новой жизни. Это тоже объяснимо: умирающему свойственно выдавать свое состояние за жизнь в превосходной степени, такую жизнь, какая и здоровому не приснится, вообще самое развитое чувство умирающего – это ревность к жизни. Граждане империи – люди нелюбопытные, но ревнивые к окружающему империю пространству, чего было ждать от них? Лихорадочная активность, конвульсии огромного тела страны были вызваны последним сильным чувством, которое испытала страна, – завистью. В корчах зависти умирала великая держава, и стыдно было это наблюдать. Одна шестая часть мира издыхала, а мир вокруг стоял и смотрел. И никто не пожалел ее. Я кратко перескажу здесь хронику этой агонии.

II

Началось с того, что сельский механизатор стал Генеральным секретарем Коммунистической партии Советского Союза и объявил, что страна двигалась неверным путем, надо изменить курс. Ничего для себя нового народ не услышал: всякий царь в России говорил, что до него было все неверно. Но этот не просто хотел очернить предыдущего царя, он хотел войти в историю как реформатор, как Петр Великий. Он был непомерно тщеславен, этот плешивый механизатор. Строить будем не коммунизм, но капитализм – вот что удумала компартия на семидесятом году своей власти. Вот так – просто. Если бы Папа Римский заявил своей пастве, что Бога нет, вряд ли он бы добился большего эффекта. И если бы наместник святого Петра призвал христиан отречься от лжеучения Христа и перейти под зеленое знамя пророка, и то он не произвел бы такой сокрушительной революции в сознании, как удалось это механизатору из Ставропольского края. Все завоевания социализма – прочь, к черту! Говорили, что Сталин сгубил зря шестьдесят миллионов. Но ставропольский паренек перекрыл эту цифру – не шестьдесят миллионов погибло зря, а все поколения в течение восьмидесяти лет жили, работали и умирали зря: не то общество строили. Ну да ничего, плевать. Бабы новых нарожают, и другое общество построим, краше прежнего.

Первым событием, тем, что подвело черту под прежней жизнью страны, было закрытие Центрального рынка. Это случилось сразу после того, как правительство объявило о переходе к цивилизованным рыночным отношениям. Тут же Центральный рынок как образчик нецивилизованных отношений был упразднен. Огромное здание на Цветном бульваре разломали, двери заколотили досками, словом, обошлись с домом торговли так, как революционные матросы – с храмами божьими. Широкие мраморные прилавки, уставленные подносами с самаркандскими дынями, астраханской икрой, прибалтийским творогом, краснодарскими помидорами, воплощали величие державы, являли обильность страны. Посетитель проходил сквозь залы, минуя туши на крючьях и осетров в аквариумах, и узнавал о размерах империи. Это здание было символом империи. От здания остался лишь остов, в нем гулял ветер.

Вместо рынка открыли торговые палатки, их открыли по всей стране, сотни миллионов фанерных палаток. В них стали продавать всякую пеструю дрянь. Люди были падки на разные бесполезные цветные штучки, завезенные грошовыми спекулянтами, людям казалось, что это

знаки иного, лучшего мира, брызги приборя цивилизации. Они покупали леденцы, брелки, презервативы, жевательную резинку – и радовались.

Одновременно с палатками появились книжки, ранее запрещенные. В них рассказывали о лагерях и сталинизме, и пожилые люди, те, которые при прежней власти были невестребованны, стали говорить о правах человека. Имели в виду они, конечно же, свои собственные права: у молодежи тоска по правам еще не наступила, а права стариков таяли с каждым днем, просто по биологическим законам. Ораторы призывали к свержению коммунистического строя, который аттестовали как тоталитаризм. Как это обычно и бывает, призывы запоздали – никакого коммунистического строя уже не было в помине. Планы дальнейшего развития были разные, сходились в одном: Россия должна сравняться с западными странами в отношении прав человека, а эти права включают в себя бытовой достаток и гражданские свободы. Энтузиазм был велик. Большую популярность приобрели выражения «права человека», «демократия» и «прогресс». Граждане так часто употребляли слово «прогресс», что создавалось впечатление, что на смену коммунистическим идеалам пришли идеалы Просвещения и механизатор из Ставрополя – последователь Тюрго и Кондорсе.

Прошло немного времени, и нашлись точные практические слова. Эти слова были – «западная цивилизация». «Западной» цивилизация называлась потому, что в качестве образца рассматривалась жизнь на Западе, но чаще говорили просто «цивилизация», поскольку все отчего-то понимали, что другой цивилизации, кроме как западной, – не бывает. И в ночном кошмаре никакому либералу не привиделось бы брать уроки жизни у Китая. Что же, там не цивилизация, что ли? – спросят иные. А черт его знает, что там такое, только по нашим понятиям – это не цивилизация. Цивилизация – это... ну да все прекрасно и без слов понимали, что это такое. Для чего мудрить, все и так яснее ясного. Как поживешь месяц без горячей воды, походишь год в одних и тех же ботинках, постоишь пару часов за колбасой, сам поймешь, что такое цивилизация. Небось, не Конфуций. Основой цивилизации – что, по-видимому, верно в отношении западной жизни – была провозглашена частная собственность. Тетки в очередях говорили друг дружке: вот если бы была своя корова, то и молоко всегда бы было. И правительство говорило им: верно, тетки. Когда будет частный собственник, вот мы вас тогда и накормим до отвала. С той же подкупающей уверенностью правительство говорило обратное восемьдесят лет назад, да кто старое помянет! Прогрессивный экономист Владислав Тушинский предложил изменить уклад страны за пятьсот дней, другие – за чуть больший срок. Несколько молодых людей, назначенных под этот случай министрами, провели полную реформу: устранили общественную собственность на заводы, фабрики, отрасли промышленности, дома, транспорт, журналы, телевидение и т. д. – и ввели повсеместно собственность частную. Сделали они это по рецептам знаменитой чикагской экономической школы и за короткий срок. Люди (то есть те, кого именуют «народ») в одночасье оказались лишенными всего того, про что привычно говорилось: народное добро. Подумаешь, возражали иные, это только говорилось «народное добро», а на деле распоряжаться этим добром народ не мог. Все равно у нас ничего не было. Что с того, что фабрика считалась народной, а теперь у нее хозяин. Как была не наша, так и осталась. Верно, отвечали им, мы не могли распоряжаться, но не мог распоряжаться и никто другой: ни партийный временщик, ни частный собственник, и добро это (пусть запущенное, неисправное) сохранялось. Его нельзя было продать, обменять, уничтожить. Теперь же толстое вялое тело России растащили по косточке, по ниточке, по хрящичку. Она, дура, худела на глазах. Не стая воронов слеталась, а съезжались прогрессивно настроенные предприниматели, адепты прогресса, рачители демократии – чтобы прикупить себе завод, нефтяную скважину, алюминиевый карьер. Нет, нет, они первым делом пришли сюда, чтобы обличить сталинский террор, чтобы бросить в лицо палачам горькие слова упрека, чтобы (запоздало, но нужно!) отдать скорбный долг жертвам репрессий, но попутно они делали собственниками автозавода или авиакомпаний, магазина или ресторана. Они делали это, конечно, из гуманных побуждений:

дабы частный характер владения оградил вещи от разрушения, дабы уничтожить постыдную форму общежития – тюремный барак, где все казенное. Слова словами, а однажды народ, этот вечный российский заключенный, пробудился с похмелья в своем Мертвом доме и увидел, что барака-то и нет больше, но нет и барачного добра: кровати, одеяла, тумбочки – их-то нет тоже. Пусть не настоящего одеяла, не настоящей кровати, а так – матрасовочки и шконки, по лагерному выражаясь, так и их жалко. Там и было-то немного, всего ничего, и так себе барахлишко, хвастаться нечем. Так и этого нет. У всякого неказистого кусочка страны нашелся хозяин, ведь крепкому хозяину пригодится любая дрянь. О, сколько планов наподобие той бумажки, что нашел Струев в квартире на Малой Бронной, было составлено и исчеркано поперек и вдоль! Сколько раз смелые карандаши полосовали длинное дряблое туловище России, распределяя сферы влияния и границы владения.

Руководитель государства, механизатор из Ставрополя, сказал по этому поводу «Процесс пошел». Далее встала промышленность. Нелепый этот термин «встала» заставляет предполагать, что прежде промышленность неслась вскачь. Этого, разумеется, не было никогда, вовсе никогда. Но она передвигалась, как умела, и производила то, чем держава пользовалась. Многие критические умы предрекали и прежде остановку производства, но откуда же было знать, что это действительно случится, и тем более так, вдруг. Вчера еще шел из заводской трубы дым и вдруг – на тебе! – не идет больше. Еще вчера ходил сосед на работу в цех, приходил вечером домой и пил водку, а нынче пьет уже с утра.

Деньги ушли из промышленности и пришли совсем в другое место, более прибыльное, – в банки. В одночасье в стране появилось столько банков, сколько не существовало во всем остальном мире разом. Это были не вполне обычные банки, не буквально похожие на европейские, но все же определенно места, где люди оставляли свои деньги, надеясь забрать впоследствии большую сумму. Идея делать деньги из денег путем финансовых спекуляций оказалась притягательнее, нежели идея производства продуктов. Помимо прочего, в этой идее содержался некий цивилизационный смысл. Поскольку основным намерением являлось войти в общую семью народов, то для этого надо было отказаться от производства не соответствующих стандартам вещей. Зачем, скажем, выращивать огурцы, которые все равно не пустят на общий рынок – стандарт не тот. Зачем делать автомобили, которые никто нигде не будет покупать. Отказались от этого легко. Деньги же – явление интернациональное, природу их отметил еще Веспасиан: они не пахнут. Бизнесом стали именовать спекуляцию, и проделки, еще пять лет назад считавшиеся преступлением, стали именовать почетной профессией. Те, кого прежде судили за спекуляции, те, кого традиционно в народе не уважали, ходили с высоко поднятой головой, в дорогих костюмах, и их показывали по телевизору, их мнения спрашивали корреспонденты газет. Некий человек, осужденный в прошлом советским судом за то, что покупал вещи и перепродавал их дороже, неожиданно сделался уважаемым гражданином, и его ставили в пример подросткам. Он открыл банк, то есть предложил людям давать ему деньги под его честное слово, и люди охотно и с энтузиазмом несли ему свои сбережения – то есть верили человеку, которого недавно считали мошенником. «В сущности, Шукин (так его звали) доказал, что он человек гибкий и предприимчивый, – объяснял литератор Борис Кузин своей жене, – и думаю, он раскрутит дело грамотно».

Однако еще прибыльнее, чем «раскручивать дело», оказалось воровать. Банки брали деньги на сохранение и закрывались. Банкиры объявляли себя банкротами и исчезали вместе со сбережениями граждан. Впрочем, иногда и нет. Это происходило, если банкир попадал в правительство.

Правительственные банки обязаны были вернуться к производству. Быстро сделалось понятно, что единственное выгодное производство – это добыча сырья: нефти, газа, алмазов, металлов. Чем растить хлеб и шить штаны, лучше продать танкер нефти. Так и делали, но государственных доходов оказалось меньше, чем рассчитывали. Дело в том, что людей, распо-

ряжающихся добычей сырья, получилось слишком много – на порядок больше, чем в тиранические времена; и каждый брал свою долю. Выстроились длинные цепочки заинтересованных лиц: одному принадлежал участок добычи, другому завод переработки сырья, третьему труба, по которой перегоняли продукт (нефть или газ), четвертому порт отправки, пятому плавсредства, и сверх того надо было платить министрам и местным властям, разрешающим операции. Коль скоро добыча сырья оставалась единственным направлением отечественной индустрии, надо было найти средство регулирования доходов от нее: невозможно ведь допустить, чтобы количество продавцов и посредников росло и росло. Собственно, схожая проблема возникала некогда и по отношению к боярству, и по отношению к кулакам. Можно согласиться на определенное число бояр или купцов, но нельзя смириться с неконтролируемым ростом этой популяции и с властью, которую они получают.

Регулировалось это так. Появилось много так называемых бандитов, за короткий срок они сделали публично известными, как политики или банкиры. Цепочка людей, распоряжающихся добычей сырья, должна была регулироваться – и она регулировалась. Убийства делались неслучайной новостью дня, как сводки погоды. Каждый день кого-нибудь из так называемых предпринимателей убивали, и цепочка сжималась. То есть граждане думали, что это конкуренты борются за места в бизнесе, просто так нецивилизованно, а на деле это регулировалась отрасль отечественной экономики и сокращались штаты. Надо было, как всегда в отечественной истории, привести дело к внятной схеме: царь, чиновник, директор добычи, крепостной. Лишнее отсекалось. Граждане, сперва оживленно воспринимавшие каждый случай, привыкли. Бандиты сначала прятались, потом перестали, некоторые стали членами парламента, другие директорами добычи. Удивляло то, что власть доверила бандитам, а не честным людям регулировать общественные процессы. Хотели этого сами бандиты или нет, но общество назначило их на ту самую роль, какую в революционные годы играли красные комиссары. Именно этим объясняется их количество и то, сколь охотно юноши шли в бандиты. С тем же энтузиазмом в начале века молодой романтик делался комиссаром. Любопытно, что и комиссары двадцатых, и бандиты девятых носили одинаковые кожаные куртки – видимо, это национальная форма общественного контролера в России. Судьба тех и других была непредсказуема и опасна, однако этот слой людей получил привилегии против рядовых граждан. Фигура контролера, воплотившаяся в России с монгольских времен в баскаках, опричниках, комиссарах, бандитах, вызывала уважение, хотя и пугала. Граждане боялись: вдруг политики прикажут контролерам с ними что-нибудь сделать, но и гордились своими контролерами – те не трогали граждан по пустякам, занимались серьезными вещами – строили Государство Российское.

Любопытно, что точно так же, как граждане в двадцатые годы усваивали авангардную манеру речи комиссаров и революционный сленг постепенно вошел в русскую речь, – так и теперь люди стали копировать жаргон бандитов, этих романтиков восьмидесятых, комиссаров перестройки.

Так, например, Эдик Пинкисевич, желая подчеркнуть свое недоверие к новой культурной политике, кричал: «Я не ведусь на эти понты!» – и одергивал на себе свой знаменитый лагерный ватник. И Захар Первачев, умевший и любивший показать опыт арестанта, цедил: «Недавно с кичи откинулся, больше волкам не поверю». И Пинкисевич, пользовавшийся блатным жаргоном еще более красочным, чем Первачев, развивал тему: «Продернут нас, как сявок, опять научат перед кумом на цирлах ходить!» Человек утонченный, посвятивший творчество российской духовности, Пинкисевич говорил на таком языке, разумеется, в шутку. И отчего же было не пошутить? Тем более что опальные, подпольные художники, Вотрены культуры, Рокамболи искусства, они чувствовали инстинктивно родство с блатным миром. Мир бандитов не пугал, он был настолько родной, настолько понятный и свой, что бояться не было ника-

ких резонов. А если кто и пугался бандитов всерьез, то таких людей успокаивали, убеждали не волноваться.

Люди рассудительные предлагали паникерам немного подождать. Они говорили так: это период первоначального накопления. Посмотрите на Америку. Вспомните чикагских гангстеров, сухой закон и т. д. – ведь остепенились же. Просто страна сейчас проходит тот же этап развития, вот и все. Дайте этим бандитам десять лет, и они войдут в сенат и станут законопослушными гражданами.

Люди, настроенные пессимистически или просто нервные, говорили: при чем здесь Америка? Какое, к черту, Чикаго? Там никакой истории не было – а за нами тысяча лет унижений. Там строили с нуля, а у нас вон сколько всего уже наворочено. Там все были равны, а у нас от века – ханство и крепостничество и т. д. и т. п.

Их оппоненты отвечали так: мы просто отстали в историческом развитии. Проходим сегодня те этапы, которые другими странами пройдены триста лет назад. Или двести. Потерпите, скоро мы их догоним. Вот тогда заживем.

Нервные же кричали: сколько терпеть? Двести лет? Что же делается? Ведь разворовываются богатства народа! Достояние страны распродается по дешевке, народ беднеет, а богатеют подонки и т. д.

Им возражали, ссылаясь опять-таки на мировой опыт: дайте инициативной группе собрать стартовый капитал. А как, вы думаете, делаются состояния? Когда они наберут достаточно, они сами прежде всего позаботятся о том, чтобы ввести законы и охранить свою собственность. Вот увидите, следующее поколение уже будет соблюдать закон. Их дети поедут учиться в Гарвард. Приедут интеллигентными, воспитанными, будут только в платок сморкаться, вы на них не нарядуетесь.

Нервные люди обычно в этих случаях впадали в истерику: но почему, почему, кричали они, именно бандитские дети должны расти просвещенными и богатыми? Что за селекция такая? Почему дети честных людей должны вырасти в бедности, а дети воров в просвещении и достатке? Что это за общество такое, где бандитам разрешают воровать, чтобы из их детей растить себе идеальных граждан? И т. д.

Но и на эти из души рвущиеся обвинения находился разумный ответ. Посудите сами, говорили этим нервным людям, разве когда-нибудь в истории было, чтобы все получили сразу поровну? Сами знаете, сколько фальши содержалось в социалистической модели. Давайте смотреть реалистически: всех в Гарвард не пошлешь, мест не хватит. Но хорошо уже и то, что бандиты посылают своих детей учиться в Гарвард, а не просто отдыхать на курорт. Если выучатся бандитские дети, а потом приедут нами управлять, то постепенно вся страна станет немного цивилизованнее, и потом, глядишь, и ваши дети – ну внуки на худой конец – тоже смогут учиться.

На это скептики и пессимисты отвечали: из бандитских детей вырасти могут только бандиты – хоть в Гарварде их обучай, хоть в Оксфорде, хоть на Луне. Из детей партийных чиновников вырастали партийные чиновники, а из детей бандитов вырастут бандиты, и править нами будут бандиты. Вот и все.

Спору нет, известная логика в этой претензии была. Но уж больно мрачно все рисовалось. Так уж и бандиты. Прямо все у вас получаются бандиты. А как же Борис Кузин, который, что ни день, получает приглашения прочесть лекцию о прорыве в цивилизацию? Как же Семен Струев, чья выставка намечена в Третьяковке? Бандиты, говорите? По-вашему, и Иван Михайлович Луговой – бандит? И жена его, Алина Багратион, – бандитка? А учредители фонда «Открытое общество»? Вот эти люди, демократически ориентированные, выступающие за плюрализм и цитирующие Карла Поппера, они что, все тоже – бандиты? Может, еще скажете, что редактор журнала «Европейский вестник» Виктор Чириков – бандит? Так ведь черт-те до чего договориться можно. Нельзя забывать, что практически перед каждым граждани-

ном была возможность не скулить, не сетовать, но найти свою, как говорили в те годы, общественную нишу и хорошо заработать – если не воровать, то пойти на работу к вору или даже не к вору, а к их сотрудникам. Можно было устроиться в газету, в рекламное агентство, в банк, – но те, кто привык смотреть на такую деятельность косо, те, кто привык к прежнему укладу, оказались не у дел. Люди, особенно немолодые, растерялись. Отцы спрашивали детей, как это может быть, что их сосед-жулик ездит на дорогой машине и выступает по телевизору с лекциями, а дети отвечали, что причиной тому его прогрессивное мышление. Люди старого образца озлобились и стали отзываться о переменах негативно. И это неудивительно, говорили иные политики, приходится брать в расчет местную ментальность: все же восемьдесят лет тоталитаризма, мозги ссохлись. Однако двигаться вперед надо, строить открытое гражданское общество, тем не менее, необходимо. Выход у нас только один, – говорил в телешоу Владислав Тушинский, человек трезвый и твердый, – двигаться на Запад, стать цивилизованной страной. Альтернатива этому – лагеря и Сибирь. Возможно, с лагерями экономист и преувеличивал, во всяком случае, не вполне понятно было, кого туда сажать и кому кого охранять. Здесь бы вышла неразбериха. Но суть высказывания очевидна: надо идти вперед, к прогрессу любой ценой. Не поймут сейчас, потом сами скажут спасибо.

Появились выражения, которые политики произносили, скроив специальную мужественную физиономию. Так, они полюбили слова «шоковая терапия» и «жесткое решение». «Мы приняли жесткое решение», – говорил политик твердым голосом, и люди чувствовали себя немного виноватыми: живем тут расхлябанно, всякой ерундой занимаемся, чай с колбасой кушаем – и довольны, а человек делает дело, принимает жесткие решения. Жесткие решения касались прежде всего этих самых людей: снижалась зарплата, повышались цены на колбасу и чай, закрывались отрасли промышленности (кроме, естественно, сырьевой добычи) и т. п. Но принимались эти жесткие решения в расчете на демократическое будущее, только ради него, никак иначе.

III

Затем произошло то, что происходит в конце концов с империей, утратившей силу: она стала разваливаться на части. Держава делилась теперь не по республикам, но по отраслям сырьевой добычи, и за каждым карьером и скважиной стоял свой президент, наместник и директор добычи – персонаж, заменивший собой государство. Сначала Россия посылала туда контролеров, и помогало. Но некоторые области оказались живучими, и как контролеры в кожанках ни старались, области все-таки отделялись от России. Ничего удивительного: это и были те самые законы рынка, которые провозгласили важнее социалистических абстракций. Если уподобить карту страны распилу дерева, то внешние кольца стали отваливаться – одно за другим.

Сначала отошли так называемые союзники, страны-колонии, затем внутренние республики потребовали независимости, и наконец стала дробиться сама Россия.

– Увидите, дойдет до размеров Ивановской Руси, – говорил Сергей Ильич Татарников старому Соломону Рихтеру.

И действительно, шло к этому.

– Что же делать, Сережа, – смеясь, отвечал Рихтер, – разве мы сами не хотели этого?

– Ничего подобного я ни в коем случае не хотел, – говорил Татарников.

– Ты вспомни, вспомни. А потом, если это цена независимости, ее надо заплатить.

– Самая независимая страна – это Монголия, – перебивал Татарников, – ни хрена от нее не зависит.

– А ведь каких-нибудь восемь веков назад... – и оба начинали хохотать.

– Послушайте, – говорил им отец Николай Павлинов, – при чем здесь Монголия? Мы входим в цивилизованную семью христианских стран. Речь идет об обновлении православия, о путях экуменистических, при чем же здесь невеста во что верующая темная Монголия? Да и кумыс русскому человеку вовсе не привычен. Если уж и привыкать к новому, так лучше к шабли.

– Именно к шабли, – говорил Татарников, – как раз к нему, припадем к источнику цивилизации, – и они со старым Рихтером продолжали смеяться.

И действительно, кое-что было забавно. Было забавно наблюдать безработных секретарей обкомов и сломанные памятники вождям. Но сколько же можно веселиться?

Начались войны. Началось с пустяков, так, постреляли и забыли. Сперва стреляли во дворе – в конкурентов-нефтяников. Потом начались стычки между малыми странами, составившими империю, – получив независимость, они сводили счеты. Потом – войны между малыми народами и отколовшимися кусками империи: даже самая малая народность хотела независимости от самого малого государства. Потом – между народившимися сопредельными странами: все хотели власти друг над другом. Потом воевать уже стала сама Россия. Здесь надо заметить, что граждане, в сущности, привыкли к войне, войнами русская история богата. Но прежние войны были иные: или народные, как Отечественная, или государственные, как Афганская. Кто воюет сегодня на Кавказе – народ или государство, понять было трудно. С одной стороны, государства уже (или еще) не существовало, с другой – народу было на все наплевать. Но кто-то ведь определенно воевал, и людей убивали. Войны шли на южных и восточных территориях бывлой империи, и количество убитых росло. Постепенно граждане империи привыкли к тому, что живут бок о бок с войной и что в стране всегда идет какая-то война. Если в первые недели войны люди только и говорили, что о войне, то через пять лет говорить об этом стало малоприличным. Ну впрямь, что же демонстрировать свою неустойчивую психику? Да, война, да, стреляют, но при чем же здесь истерики? Между тем война каждый день собирала своих убитых, и цинковые гробы регулярно доставлялись в провинциальные города и деревни, разбросанные по стране. Появилась категория людей, со времен большой войны забытая, – беженцы. Они уходили из разрушенных южных городков и скитались по России. Больные грязные дети и женщины с безумными глазами спали на вокзалах и просили милостыню. Из столицы их гнали. Их никто не жалел. Все население, в сущности, было беженцами: бежали от тоталитаризма к демократии, прихватив лишь чемодан, как погорельцы.

Действительно, хватало своих трудностей. В самом деле, гражданину оставалось только спросить: простите, кто здесь, собственно говоря, беженец? Кому это я должен сочувствовать? Почему я ему – а не он мне?

И оттого что люди привыкли жить с войной, как с язвой, кривясь на нее, но не придавая ей значения, оттого что они получили право не сострадать и не сочувствовать другим людям, они портились. Оттого, что доминирующим чувством на протяжении двух поколений стала зависть к далеким и неуважение к близким, они тоже портились. Оттого, что мораль выживания не предусматривала представления о честной бедности, но, напротив, – бедность сделалась свидетельством лени, а богатство – мерилем ума, и от этого люди портились также. И оттого что люди испортились, их жизнь делалась только хуже. Но более всего их портила цель, которую перед ними поставил мир и которую они сами захотели. Они должны были развалить большую страну, в которой жили; но невозможно ломать дом, где живешь сам, невозможно ломать дом, не имея даже приблизительного чертежа нового, намеченного к строительству; и хотя работа представлялась захватывающей, она портила человека.

Западные страны стали давать огромные суммы денег – их надо было тратить на демонтаж империи: западные страны хотели навсегда покончить с опасностью коммунизма. Деньги пропадали. Периодически в печати появлялись сообщения: «Центральный банк категорически отрицает факт хищения пяти миллиардов долларов кредита, полученных от Междуна-

родного валютного фонда. Центральный банк, однако, не может гарантировать, что указанные средства находятся на его счетах». Все, кто мог, стали брать из кредитов для себя. Брал премьер-министр, брал министр финансов, брали председатели либеральных и демократических партий, брали народные депутаты, брал президент. Словом, воровали. Скрывали это не слишком усердно. Граждане империи так или иначе были осведомлены о том, что правительство употребляет деньги из бюджета страны на личные нужды, затем одалживает у других государств, но и эти деньги тоже крадет. Но и то сказать, ведь деньги давали на демонтаж империи, а когда все воруют, эта цель более или менее достигается. Зачем еще ей помогать, рассуждали заинтересованные лица, она и так демонтируется. И как можно осуждать людей, которым годами недодавали, а сейчас они хоть что-то урвут из обломков, проживут на пепелище. Западные страны, впрочем, не сетовали: даже если деньги и пропадали, они играли свою роль в разрушении империи – они портили людей, и империя рушилась, как рушится все гнилое. Отрасли промышленности хирели, а министры богатели, и к этому уже привыкли все.

– Вот, например, министр культуры Аркаша Ситный. Очень адекватный человек, очень, – говорили все наперебой, ну хоть взять мнение протоиерея Николая Павлинова. – Все-то у него со вкусом устроено: квартира в Ермолаевском, дача на Пахре, а как рыбалка организована! Сон! Мечта! Прямо у причала стоит мангал, решеточка для гриля. Человек тонкий, – и таких разговоров было в избытке. Людям нравилось числить в своих друзьях человека обеспеченного, со званиями, умеющего жить по-европейски. Ситный брал не больше других, возможно даже, что и меньше, он еще осторожничал. Министр культуры Аркадий Ситный и его заместитель Леонид Голенищев производили впечатление людей, работающих день и ночь; они пропадали по неделям в разных концах света, связывая оборванные большевиками культурные нити, они появлялись в обществе с изможденными лицами, бессонными глазами – всем видом показывая, что и ночи их отданы изнурительной культурной работе. Запасники музеев стали распродавать картины на Запад; по городу пошли гулять сплетни об исчезновении картин из Русского музея или Эрмитажа. Ситный и Голенищев ходили с напряженными, страдальчески заострившимися, хотя и полными, лицами. Было ясно написано на этих лицах, что не брали эти люди музейную собственность, совершенно точно не брали, ну вот невозможно, чтобы они взяли. Разве что поспособствовали; но за это ведь не упрекнешь. И потом, как резонно говорил Ситный Голенищеву, не следует забывать о том, что большевики сотворили с культурой. Надо помнить про разрушенные храмы, выданные из окладов иконы. Так мы, по крайней мере, знаем, что картина находится в хороших руках, в Кливленде, и ею печку не растопят. В то время произвела ошеломляющий эффект очередная статья Кузина «Сотворение катастрофы». В ней автор показывал со всеми ужасающими подробностями, как и что большевики сотворили с народом, с менталитетом нации, со страной. Написанная, что называется, на одном дыхании, статья была опубликована в центральной газете – и народ читал ее: в метро, на автобусных остановках, в парках люди сидели, уставившись в кузинские строки.

Правды ради надо отметить, что осуждение прошлого не спасало страну от распада. И тем более странно было наблюдать, что распад и гниение не препятствовали стране живо реагировать на печатное слово, обсуждать его, спорить. Хотя, казалось бы, что спорить? Разве поможет?

IV

По всем показателям держава сдохла: территория ее развалилась, народ обнищал, наука не развивалась, образование захирело, армия рассыпалась, производство стояло, правительство воровало. И однако страна еще жила. И за счет чего она жила, было неясно. Но она еще жила вопреки здравому смыслу, и люди продолжали рожать себе подобных.

Человек устроен так, что и на смертном одре он должен делать выводы. Как всегда в таких случаях, граждане разделились на две группы. Первая говорила, что надо вернуться назад, что при тоталитарном строе было спокойнее, надежнее; вторая группа убеждала, что надо пройти до конца трудный путь к цивилизации. Да, демократия не сахар, соглашались они. А кто говорил, что сахар? Да, быть свободным – тяжелая наука. А что вы хотели? Свободным надо еще научиться быть. Надо еще суметь перенять опыт цивилизованных народов. Интеллигенция устами наиболее страстных своих сынов говорила, что страна все еще жива потому, что теперь есть свобода и гласность. Пусть нищета, говорили интеллигенты друг другу, мы согласны терпеть лишения, но зато есть свобода слова. И за эту свободу мы готовы на все. И мы пройдем этот трудный путь к прогрессу.

Некоторые из тех, кто произносил такое, были симпатичными и добрыми людьми. Главное достижение, говорили они, это открытое гражданское общество. Кому открытое, куда открытое? Эти вопросы не задавались. И самый главный вопрос: какое общество? То, что в России было некогда великое государство, не требует доказательств; но было ли в ней общество? Достаточно ли многомиллионному скоплению людей, объединенных в былые времена приказами и верой, достаточно ли единого для всех климата, чтобы чувствовать себя целым организмом? Достаточно ли набора привычек и того, что называют культурой, если эти привычки и эта культура объявлены несостоятельными? Достаточно ли общего прошлого, если этого прошлого надо стыдиться? Ответ на этот вопрос давала интеллигенция: отчего же, говорила она, общая цель сохраняется – это жить, как другие, вон, как за границей живут, ну, скажем, как в Бельгии. Или как в Канаде. Эта цель и должна была скрепить общество в России.

Русская интеллигенция выступала передовым отрядом нового общества. Для интеллигенции эти тяжелые, в общем-то, годы стали годами удачи. Смутное время хорошо для наемников и интеллигентов. Давно уже интеллигенту не было так уютно и вместе с тем столь отважно. Как и в случае с революционным террором, нашлись такие, которые не приняли нового, но в большинстве своем интеллигенция вновь доказала, что умеет слышать шум времени. Как и семьдесят лет назад, она сделала единственно возможный выбор. Если бандиты были комиссарами перестройки, то интеллигенты, как и в начале века, – авангардом. Они стали теми, кто перенимал у Запада знания и моду, внедрял их на Родине. Интеллигенция первая рассказала народу о преступлениях коммунистов против него, народа. И она же должна была привить народу вкус к новому порядку. Но как это было нелегко. Дело в том, что не весь народ хотел свободы.

Вот, например, у Дмитрия Кротова, потомственного интеллигента, известного журналиста, вышел такой разговор на перроне Белорусского вокзала. Дима встречал маму, та возвращалась из Карловых Вар, где проходила лечение на водах; он ждал поезда и нехотая ввязался в разговор носильщиков. Один громко сказал: «Сталина! Сталина вернуть надо!» Дима не выдержал и обратился к нему. «Как вам не стыдно, – сказал Дима, – Сталин наших отцов в лагерь сажал». Носильщик повернул к Диме испитое бескровное лицо и процедил: «Это он ваших отцов сажал, а не наших».

Этот разговор шокировал Диму. Он пересказывал его впоследствии и в редакции, и разным знакомым. Характерно, что никто не был удивлен. «А что? – спросил один из приятелей, – разве товарищ не прав? Верно излагает. Что тут неверно?» – «Никогда, – ответил на это молодой Дима Кротов, волнуясь, – никогда не излечится страна, покуда каждый гражданин не испытает стыда за содеянное!»

Нелишним будет описать здесь и то, что было сказано меж носильщиков, когда Дима отошел в сторону. Тот, что напугал Диму, худой человек по фамилии Кузнецов, комментировал диалог с Димой так: «Сталин войну выиграл, а отец этого пассажира в Ташкенте, небось, отсиживался. Болтунов развелось, злости не хватает. У меня тут один клиент номер бляхи узнать хотел, нагрубил я ему. Сто семнадцать, говорю, дробь восемьдесят восемь. Легко запомнишь,

говору, отец: статья за нанесение тяжких телесных повреждений и другая за изнасилование. Иди жалуйся. А то, понимаешь, Сталин ему не угодил, Сталин, вишь, виноват. Страну разворовали – это хорошо, а ворюг сажали раньше – это плохо было. Лагеря, видишь, ему помешали. У меня брательника на Пасху сожгли, никаких лагерей не надо, сгорел, как газета. – Кузнецов описал то, что произошло: его брат пошел торговать в ларьке; контролеры рынка облили ларек бензином и подожгли; продавец сгорел внутри. – Что тебе Сталин дался, урод? Чем тебе Сталин не угодил? Гордость у людей была, вшами не были».

И действительно, народ привык гордиться былой империей, стоило труда внедрить в народное сознание мысль о том, что бывшее могущество достигалось ценой уничтожения правовых институтов. Дело было еще и в том, что репрессии времен тирании народ принимал как норму, а не как трагедию. Требовалось сперва убедить народ в том, что прежнее состояние являлось трагедией, а потом приучать к переменам. И здесь возникало неразрешимое препятствие: народ говорил, что трагедии с ним не было, а если трагедия была с интеллигенцией, ну так это ее, интеллигенции, дело. Как же так, возмущались интеллигенты, вас же сажали, ссылали, убивали, мучили. А народ говорил: так это всегда так. А сейчас разве не так? Разве не сажают, не мучают? Да и вообще, чего тут такого, все одно – помирать. Интеллигенции непривычно было общаться с народом: в былые годы приходилось иметь дело с начальством, но не с толпой. С начальством общий язык найти было просто, поскольку цель была общая: удобная жизнь, цивилизованная жизнь. Но дикое прошлое народа, но варварское сознание необразованных сограждан стали для интеллигента тем же, чем камень в известном мифе о Сизифе – неудобный в обращении булыжник вырывался из рук и катился вниз. Дурные привычки и некрасивые повадки свойственны населению. Казалось бы, задача ясна, надобно их отменить и на их месте создать нечто новое. Трудность заключалась в том, что их нельзя демонтировать, перестроить – они, если угодно, сами по себе воплощают крайнюю степень деструкции: и как прикажете перестроить то, что не имеет конструкции? Ну как? В те годы популярными среди интеллигентов, в частности среди московских интеллигентов, стали труды французских постмодернистов, например Дерриды, который призывал к деструкции стереотипов. Французский философ сделался наставником российской свободомыслящей публики: молодые люди повторяли слово «деструкция» столь же часто, как их прадеды популярное некогда выражение «прибавочная стоимость». Увлечение постмодернизмом и деструкцией среди просвещенной части общества совпало с политическим курсом на так называемую перестройку. Так что если в одних кругах произносили слово «деструкция», то в других – «перестройка», и, справедливости ради надо отметить, имели в виду примерно одно и то же. И надо сказать, оба явления (деструкция и перестройка) действительно были одной природы: ставропольский Деррида и французский философ-механизатор думали примерно одинаково, и продукты их умственных усилий вышли похожие. Прикладной российский постмодернизм выглядел убедительнее, но, будем справедливы, воплощал-то он теорию. Греческий философ Платон тратил время и рисковал свободой, отправляясь на Сиракузы к тирану Дионисию: он хотел уговорить тирана построить идеальное государство по его, платоновской, схеме. Французским философам, в отличие от древнегреческого коллеги, даже не пришлось тратиться на билет: ставропольский паренек и сам решил построить из России постмодернистское государство. То был редкий момент в развитии общества, когда чаяния интеллигенции и планы начальства совпали. Удачным было и то, что эти планы совпадали и с намерениями всего мира, который приветствовал демонтаж Советского Союза. Казалось бы, все сошлось как нельзя удачнее: все хотят и деструкции, и перестройки. Мешал их осуществлению только российский народ – темная, плохо поддающаяся позитивным влияниям необразованная субстанция. Что, собственно говоря, можно демонтировать в сознании алкоголика, который справляет нужду в подъезде? Как подвергнуть деструкции нечто, не имеющее никакой конструкции? Что с этой сволочью делать? Интеллигенция отчетливо понимала просветительскую задачу, но вместе с тем понимала и тяжесть этой

задачи. Мало что так упорно сопротивляется прогрессу, как бытовой уклад, как образ жизни, будь он неладен.

– И мы принуждены жить здесь, говорить на одном языке с теми, кто нас не понимает! – восклицал художник Иосиф Эмильевич Стремовский в доверительном разговоре с Розой Кранц, культурологом. – Я удивлюсь, если мой сосед по лестничной клетке вообще понимает мой дискурс! Скажи я слово «деструкция», он, пожалуй, возьмет топор и меня тукнет.

– Именно, – подтвердила Роза Кранц, – так они в свое время и прочли марксизм – к топору, дескать, зовите Русь. Они и сейчас готовы на все.

– Проснутся, того и гляди, самые темные, националистические силы, – говорил Иосиф Эмильевич, понизив голос.

– Эта опасность всегда есть в России, – подтвердила Роза Кранц, – варварское прошлое отделено от нас очень тонкой пленкой культуры. Едва она прорвется, как хлынет неуправляемый поток варварства – и его уже не остановить. Затопит все.

– Я тоже этого же самого опасаясь, – сказал Осип Стремовский. – Приходится признать, что нам еще далеко до Европы. Недавно был по приглашению своего коллекционера (прекрасный, кстати, человек, дантист) во Франции, смотрел парад жандармерии. Какие лица! Достоинство, стиль.

– Здесь таких не сыщешь.

– Вырождение, вырождение! Но мы должны найти способ убедить этот народ.

V

Вот с этой-то проблемой и должны были справиться так называемые средства массовой информации, иначе говоря, телевидение, газеты, журналы – то, что в стране стали почтительно называть «четвертой властью».

– Говорят: «четвертая власть», «четвертая власть», словно три другие в наличии, – сказал за завтраком Иван Михайлович Луговой своей жене Алине Багратион и отхлебнул немного колумбийского кофе, – так ведь никакой нету: ни первой, ни второй, ни третьей. Откуда четвертой взяться?

– Иван Михайлович, – сказала Алина, – ну пусть мальчики поиграют, они ведь еще ищут себя. Помнишь Диму Кротова, который был у нас на *weekend* на даче? Такой робкий, стеснительный мальчик, – и она засмеялась, вспоминая, как Дима краснел от ее шуток, а потом неловко прыгал по участку, играя в бадминтон. – Его теперь позвали заместителем главного в «Европейском вестнике». Правда, мило?

Однако Алина Борисовна ошибалась – журналисты были вовсе не робкие и никак не застенчивые. Наиболее бойкие и языкатые из общей массы интеллигентов, они ходили, высоко подняв голову: чувствовали ответственность, упавшую на плечи, чувствовали власть, сваливающуюся в руки. Они язвили пороки и свойства, мешающие двигаться к прогрессу; они высмеивали отсталую отечественную культуру, что никак не хотела стать наравне с американской и европейской; они изо всех сил прививали обществу принципы нового мира, в котором хочешь не хочешь, а предстояло жить.

Сначала вернули некогда существовавшую газету «Бизнесмен». Напечатали на первой странице, что возобновляют прерванное большевиками издание. Набрали лучших, самых бойких, самых оперативных корреспондентов. И пошло дело! Слово «бизнесмен» определяло, кем общество желает видеть своего гражданина. Времена изданий «Пионер», «Большевик», «Работница» миновали. Чтобы быть гражданином, надобно торговать, крутиться, наживаться. Не спать, действовать! Весело, задорно взялись за работу энтузиасты: выделили наиболее важных для современной России людей – это были владельцы сырьевых ресурсов – они, именно эти баловни фортуны, составили центр нового общества. Вокруг них располагался пояс коммер-

сантов поменьше – владельцы заводов и политики. Последний круг – плотва большого бизнеса – это спортсмены и деятели культуры, успешно продающие талант в первые два круга. С этой твердой концепцией мироустройства газета немедленно стала лидером в мире информации. Появились интервью с теми, кто мог считаться эталоном постмодернистского государства, – и герои излагали публике свои убеждения. В рубрике «Успех» помещали фотографии лучших бизнесменов страны. Так, Тофик Левкоев, эксклюзивный дистрибьютор автомобилей «крайслер», был сфотографирован на ступенях своей новой виллы в Сардинии. «Я буду бороться с рудиментами большевизма», – гласила подпись под фотографией; Тофик улыбался в объектив, и средиземноморская волна, набегая на мраморные ступени, ласкала босые ступни Тофика Мухаммедовича. Поговаривали, будто Тофик содержит банду наемных убийц. А что толку слушать сплетни! О ком только не говорят! Вы сами, что ли, видели? А вы видели? Тогда зачем говорите? Ну допустим, приходится человеку преступать так называемый закон, и что с того? Кто осудит? «Ведь наверняка же ворюга», – заметил осторожный Эдик Пинкисевич, разглядывая газету. На это культуролог Борис Кузин (Пинкисевич зашел к нему в редакцию) немедленно ответил: «Повторю вслед за поэтом Бродским – ворюга мне милей, чем кровопийца! Побольше, побольше таких Тофиков нашей многострадальной Родине!» И газета, словно услышав его призыв, печатала еще и еще. И это было лишь начало.

Снова стал выходить в России журнал «Европейский вестник», некогда основанный историком Карамзиным, но только толще, краше, интеллектуально насыщеннее, чем прежний. И то сказать – задачи, поставленные перед теперешними талантами, были пограндиознее прежних. Лучшие перья отечественной словесности, ярчайшие умы российской демократии были брошены на прорыв в цивилизацию. Авторы со страстью доказывали неизбежность возвращения России в европейское культурное пространство, а уж то, что она там была, не вызывало ни у кого никаких сомнений. Прорвать стену отчуждения, воздвигнутую десятилетиями социализма, – вот была задача. Прорваться из соцлагеря в свободный мир и устроиться там по праву и на равных – сегодня же! И на меньшее не согласны! У зашедшего с улицы на заседание редакционной коллегии могло возникнуть ощущение, что он и впрямь находится среди фронтовых корреспондентов, на передовой.

– Карту Португалии мне! – кричал главный. – Крупномасштабную, с морями, с проливами!

– Там океан.

– Так давайте с океанами, черт побери! Специалистов по Португалии найдите! Быстро, бегом! Мне рассказывали на днях, что Португалия и Россия похожи. Климат дождливый, песни заунывные. Арабское иго там, татарское – тут. И оба ига аккурат по двести лет. Все сходится. Редкое совпадение – и никто, ну совершенно никто про это ни слова. Заговор молчания! Дать заголовок крупно: «Два полюса Европы». Мельче: «Москва идет путем Лиссабона: от ига к демократии».

– Кажется, это Испания – с маврами.

– Стоп, стоп, стоп. Вот здесь нельзя ошибиться. Тут чтобы никакой самостоятельности. Срочно, Дима, звонок в Институт истории. Все верно, я отдыхал в Испании, арабских названий многовато. Звони!

– А что я спрошу, у кого?

– Почему я окружен идиотами? У кого хочешь спрашивай. Предельно ясная задача – узнать за десять минут, какая страна переживала арабское иго. Точка.

– «Москва идет путем Мадрида».

– Вот Мадрида нам – не надо. Коммунары, кожанки, Интернационал – кому нужна пионерская романтика? Не надо Мадрида – образ себя изжил. Работать, работать. Мозговой штурм. Заголовок, заголовок!

– «Два крыла Европы».

- «Арабы слева, татары справа – цивилизация в осаде».
- «Европа в тисках Азии».
- «Держали щит меж двух враждебных рас – арабов и татар».
- Арабы татарам не враги.
- Дурень, это они нам враги.
- Кому это нам?
- Европейцам.
- Мы что, европейцы?
- А чем мы хуже португальцев? Те тоже с краю.
- Верно, и испанцы – те, прямо скажем, не по центру.
- А нос дерут. Европа!
- Заголовок: «Блестящие маргиналы Европы». И петитом: «Россия и Испания».
- Сверить жестко сроки ига. По датам, буквально по дням. Сверить сроки диктатур: должно совпасть. Франко – тридцать лет правления. Сталин – тридцать лет правления. Тут чтоб без ошибок.
- А Салазар?
- Это кто? Ах, так. Что ж, и Салазар пригодится.
- По-моему, Португалии тогда еще не было. Когда арабы пришли, еще португальцы не образовались.
- Вот это уже похоже на дело. Тут есть здоровое зерно. Не было – значит, не было, так, так, так. Развивайте тему. А что было?
- Испания одна была, потом из нее Португалия выделилась.
- Когда?
- А я почем знаю когда?
- Отставить. Приблизительности быть не должно. Только факты. Железные знания. Или идите работать в журнал «Коммунист».
- Проще нужно: взять Иберийский полуостров в целом, и нечего путаться с Португалией. Обобщим.
- Отлично. Это конструктивно. Крупно заголовок: «Иберийский полуостров – Среднерусская возвышенность». Под ним мельче: «Два полюса Европы – одна судьба». Фото крупно: Сталин. Мельче: Франко. Совсем мелко: Салазар. Заказать рисунки: араба на коне и татарина с луком. Карту Европы – от Атлантики до Владивостока, то есть что это я? До Урала. Даже не надо до Урала – до Ленинграда дайте, и хватит. Вот так.
- Теперь уже никуда не деться, – сказал главред «Европейского вестника» Витя Чириков своему заму, когда они отмечали первый номер в кабинете ресторана «Ностальжи» и уже выпили по ледяной рюмке, и официант уже принес и поставил перед каждым так называемый комплимент от повара – маленький бутербродик с паюсной икрой, – теперь мое имя рядом с Карамзиным, и его не вычеркнешь из русской истории». – «Это бесспорно, Виктор Сергеевич, – подтвердил его зам, молодой Дима Кротов, и проглотил бутербродик, – это теперь – на века».
- А в Лондоне тем временем затевали новое издание некогда прогремевшего «Колокола» – и главный редактор Петр Плещеев, известный спекулянт, специалист по красному дереву, мастер крупных сделок по антиквариату, готовился принять эстафету из рук покойного Александра Ивановича Герцена. «Не выходил “Колокол” сто лет по независимым от редакции обстоятельствам, – как было отмечено в редакционной колонке, – но зато теперь будет выходить не в ежемесячном, а в еженедельном режиме. Нам есть что сказать. Пусть гудит набат над свободной Россией. Пусть колотится колокол в наши сердца».
- Нам есть что сказать, – говорил Плещеев на пресс-конференции в отеле «Дорчестер», – все недоговоренное Герценом, все недописанное им мы обязаны дописать и договорить. И

договорим – не сомневайтесь! Не станем, однако, забывать, что говорим мы в новых исторических условиях, после страшных испытаний, выпавших на долю многострадальной Руси. Как мог бы мысленно воскликнуть Герцен, эксперимент над русским человеком завершен – не хочу я более никого будить, я сам не прочь отдохнуть! Но отдохнуть достойно! Так давайте вернемся к основам бытия – к нуждам среднего класса, хранителя демократических традиций! В этом мы видим свою задачу. Конечно, журнал не может в полной степени сохраниться таким, какой он был. Время диктует новые формы. Например, будет больше рекламы. Скажем, на первые полосы мы поставим рекламы отличных антикварных салонов. Думаю, не случайно читатель столкнется с рекламой хороших интерьеров, красивых домов, дорогой мебели – это приобщение к иному, свободному образу жизни. Сегодня мне звонил владелец нового бутика из Москвы – парижанин, потомок великого русского философа, Жиль Бердяев. Не умирают традиции, цветут! Великолепная изысканная мебель из карельской березы времен Екатерины: вполне вероятно, что на этих креслах сидел Дидро или Вольтер. Что ж, я думаю, нам по дороге с такими людьми. После серого казарменного быта социалистического лагеря мы должны вновь приучать гражданина свободного общества к красоте мира.

– А вы, Петр Аркадьевич, в прогнозируемой деятельности вашего детища не отделяете эстетический аспект от социально-правового? – спрашивала корреспондентка.

– Ни в коем случае. После восьмидесяти лет экспансии дурного вкуса мы обязаны воспитать нового человека, который увидит гармонию свободного мира – в каждом его проявлении. И прежде всего – в красоте и обустроенности своего быта.

– Связываете ли вы понятия этики и эстетики? – задавалась вопросом журналистка.

– Безусловно, – говорил Плещеев, с удовольствием оглядывая мраморный интерьер «Дорчестера». – Дурной поступок – это прежде всего некрасивый поступок.

– Вот почему главный редактор «Колокола», – строчила в блокнот корреспондентка, – которого не случайно зовут Петр Аркадьевич, как и легендарного Столыпина, знакового мученика и культовую фигуру российской истории, делает свой радикальный журнал посвященным и этическим, и эстетическим проблемам нашего с вами бытия. Помолимся же, чтобы не стихал малиновый звон вновь отлитого колокола, который звонит и по России, и по каждому из нас. Будем же вечно благодарны обоим Петрам Аркадьевичам, ударившим в набат нашей совести.

В журнале же «Актуальная мысль» (бывший «Коммунист») бодро продвигался набор «Прорыва в цивилизацию» Бориса Кузина. Уже вышло четыре номера и планировалось дать еще пять с главами этой работы, судьбоносной и новаторской. «Значение “Прорыва” в том, – сказал Иван Михайлович Луговой, – что в эту брешь хлынет вся страна». И, как всегда, Иван Михайлович не ошибся. Хлынула! Журналистка Голда Стерн сравнила кузинский «Прорыв» с брусилковским. Она написала так: «...но не на германские штыки, а под знаменами западной (и германской в том числе) цивилизации – на прорыв в культуру! В историю! На свободу! Даешь цивилизацию!» А другая бойкая девица из молодежной газеты отчебучила и такое: «...из окружения варварства – на прорыв! По-кузински! Мы им покажем кузькину мать!» Борис Кузин только руками разводил – ну что с дурами поделаешь? Но было приятно.

А в альманахе «Дверь в Европу» писали самые передовые и едкие заметки по культуре – именно там оттачивали свои перья культурологи Роза Кранц и Голда Стерн, молодая Люся Свистоплясова, острый полемист Яша Шайзенштейн и другие. Газета эта сделалась непременным чтивом всякого русского интеллигента – так ловко и свежо было в ней подано все необходимое для общего развития. Порой в альманах писал сам Борис Кузин, присылал статьи Савелий Бештау, даже художник Иосиф Стрёмовский пробовал перо – и, по отзывам литераторов, очень и очень неплохо. Надо ли удивляться тому, что среди прочих – и даже в опережение прочих – был заказан материал и знаменитому Захару Первачеву, отцу второго авангарда. Редакция альманаха недвусмысленно дала понять, что пришла пора обнародовать тот самый знаменитый список Первачева, то есть перечень творцов, создателей так называемого «другого

искусства и нового мышления». Сам Первачев отнесся к этому факту ответственно. Он понимал, что публикация списка вознесет одних неизмеримо высоко, но, напротив, – столкнет других в бездну. Он ходил по мастерским, придирчиво оглядывал наследие авторов, советовался со знакомыми, подолгу сидел недвижно над списком, взвешивал «за» и «против», правил, добавлял, вычеркивал. Знаешь, сказал он Струеву, я понимаю всю меру ответственности. Что будет с человеком, если я вычеркну его? Ну не вычеркивай никого тогда, посоветовал Струев. Как же так – не вычеркивать? А историческая правда? Я вот думаю вычеркнуть Дутова. Не тянет. Замолчать этот факт? Дать парню шанс? Но мы ведь пишем историю, создаем будущее – обман здесь невозможен. И отягощенный ответственностью Захар Первачев пошел работать над списком дальше. Не один Первачев переживал этот непривычный опыт – опыт пришедшей невесты откуда ответственности перед историей. Допустим, некто был прежде частным лицом, делал что хотел, – но как персонаж великой драмы, как герой, явившийся на авансцене истории, – он уже обязан за собой следить пристально. И не только следить, но и подать себя определенным образом. Роза Кранц, попав в самый центр общественного интереса, стала ходить в красных чулках, а Яша Шайзенштейн постригся наголо и отпустил маленькую бородку. Они и прежде выделялись в толпе, Роза и Яша, а теперь на всякой презентации или вернисаже люди издали видели красные чулки или бритую макушку и знали, кто пришел. Яша и Роза писали почти во всех газетах – были, как говорится, нарасхват.

VI

И неудивительно, что искусство в государстве победившего постмодернизма расцвело. Иначе быть не могло – если идеалы власти и интеллигенции совпадают, искусству приходится расцвести. Так было во Флоренции XV века, когда Лоренцо Великолепный опекал Боттичелли и Микеланджело, так было в Германии XIX века, когда Гёте был обласкан Веймарским двором. Так случилось и в России при власти плешивого ставропольского механизатора, последователя Дерриды, крестного отца второго авангарда. После памятного вернисажа восемьдесят пятого года прошли тысячи выставок, одна радикальнее другой. Молодежь не пожелала отставать от признанных нонконформистов – и не отстала! Молодые люди выложили слово «хуй» телами, улегшись поперек Красной площади. Эффект был колоссальный. Спустя некоторое время они вынуждены были сделать «сиквел перформанса», то есть повторить свое произведение, и они выложили из своих тел слово «хуй-2». Некоторые критики, однако (в частности, Яков Шайзенштейн), нашли это повтором. «Не ищут, – говорил Шайзенштейн в частной беседе, – полагаются на русский “авось”. А, между прочим, западный дискурс предполагает неустанный поиск». В газете же он бичевал леность мысли: надо еще смелее, еще радикальнее! Подобно оводу, Шайзенштейн жалил художественную общественность, дабы не погрузилась в дрему – и та бодрствовала! Молодой человек с птичьей фамилией Сыч разделся донага и публично совокупился с хорьком – акт, казалось бы, невозможный, но художник поместил хорька головой вниз в солдатский сапог так, что зверек рвался, глухо выл в сапоге, грыз кирзу, но увернуться от насилия не сумел. Критика нашла это радикальным искусством и усмотрела в перформансе, помимо прочего, еще и выпад против дедовщины в Советской армии. В то время как раз живо обсуждалась армейская реформа, введение профессиональной армии, и реплика Сыча в общей дискуссии не осталась незамеченной. Еще один мастер, молодой талант, приехавший из Гомеля покорять Первопрестольную, совершил акт дефекации в музее у картины Рембрандта. Желтоватые фекалии его легли, впрочем, вполне аккуратной кучкой, и зрителям не составило особого труда убрать их. Здесь можно было усмотреть и аллюзии с известной копрофагией Дали, и с пощечиной общественному вкусу футуристов, но парень шел дальше, говорил свое, говорил по-своему. Газеты поместили его фотографию: искаженное в усилии дефекации лицо, вздувшиеся вены на лбу. Не обошлось и без курьезов: так, парижская газета

левого толка «Le Monde Diplomatique», перепечатывая эту фотографию, поставила под ней подпись с фамилией известного правозащитника, отбывавшего ранее срок в молдавских лагерях и лишь недавно обретшего свободу. Страстная речь правозащитника, опубликованная ниже, как нельзя лучше монтировалась с напряженным лицом гомельского авангардиста. Во всяком случае, сам правозащитник обладал вполне заурядной внешностью, которая вряд ли способна была тронуть сердца подписчиков.

Находились, конечно, люди, которым было не близко искусство второго авангарда. Но так уж всегда – во все времена находятся противники нового. Так, например, старый Соломон Рихтер, который, собственно говоря, и открывал своей речью ту, памятную выставку восемьдесят пятого, негодовал и плевался.

– Не понимаю, – кричал Рихтер, ходя по квартире и стуча корешком Гегеля по столу, шкафам, полкам, – не понимаю! Это не искусство, а черт знает что! Не понимаю! Шарлатанство! Нет, хуже! Гадость, гадость!

– Раньше за Гегеля надо было хвататься, – говорил ему Сергей Татарников, – а теперь чего уж? Теперь только из пулемета.

– И вы туда же! Из пулемета! Да при чем здесь пулеметы! – и старый Рихтер, тяжело дыша, принимался объяснять Татарникову, в чем он, Рихтер, видит разницу между первым авангардом и вторым. Он путался, сбивался, говорил о Прекрасной Даме, сам понимал, насколько это неуместно в контексте любви с хорьком, и начинал сызнова стучать Гегелем по столу. Что-то было не то, он чувствовал это, но выразить не мог. И его все время преследовала мысль: а может быть, я уже просто слишком стар? Обычное дело: старый дурак не понимает новаторов.

А ехидный Татарников говорил: «А что если мы действительно не понимаем, Соломон? Может быть, сцена с хорьком – это вариация на тему “Дама с горностаем”?» – «Немедленно замолчите, Сергей!» – заходился в крике Рихтер и свирепо тарашил близорукие еврейские глаза.

И Павел, молодой художник, допущенный на посиделки авангардистов, томился душою оттого, что не может в полной мере быть с новаторами. Что-то мешало ему соединиться с этой ликующей группой. Например, он сидел за общим столом среди художников новой волны, и корреспондентка немецкого радио брала у них интервью. Горели софиты, оператор целился камерой, немецкая девушка говорила в микрофон: «Передо мной сидят люди, которые осмелились сказать системе “нет”. Все они прошли лагеря и тюрьмы, мрачные застенки советского режима». Она говорила, и ни один из сидящих за столом – ни надругавшийся над хорьком Сыч, ни гомельский мастер дефекаций, ни Эдик Пинкисевич, как и всегда декорированный ватником и треухом, ни группа перформансистов, однажды выложивших слово «хуй» и снискавших долгую славу, – никто, решительно никто этого предположения не опровергал. Пинкисевич хмурился, словно вспоминая зону, Сыч проводил рукой по короткой стрижке, будто это его на пересылке обрили, авторы слова «хуй» смотрели скорбно и горько. Никто из нас не сидел в тюрьме, никогда и никто, хотел крикнуть Павел, но не крикнул. Он даже отчасти устыдился своего порыва: в конце концов, сказал он себе, и мы могли бы оказаться в тюрьмах. Ведь к тому шло. Он вспоминал, как секретари райкомов грозились принять меры – и ведь еще немного, и приняли бы. Он вспомнил пушкинский рисунок – повешенных декабристов – и подпись под ним: «И я бы мог...». Но даже заставляя себя думать так, он испытывал отвращение к выдуманному сопротивлению. Ему припомнился диалог с одним из новых авангардистов. Разговор происходил, когда российские войска еще стояли в Афганистане. Павел сказал: «Невозможно так себя вести (он имел в виду – паясничать), если в Афганистан ввели войска». На что авангардист ответил: «Я и есть тот самый Афганистан, в который ввели войска». Ответ показался Павлу очень хорошим, но быстро стал раздражать: как это можно сравнить себя с целой страной, с детьми, женщинами, беженцами – что за самомнение такое. Сомнениями поделиться было не с кем: Павел попытался было рассказать о своих коллегах отцу, но отец отнесся по сво-

ему обыкновению презрительно. «О чем можно разговаривать с этими балбесами? Интересно, они хотя бы кошку нарисовать могут?» – поинтересовался он и скривился, и Павлу сделалось обидно за своих новых друзей. Ему нравились авангардисты, его смешили их шутки, но сам он не мог решиться ни на какой, как принято было говорить, радикальный шаг. Он пытался сформулировать, чего же ему не хватает, чтобы стать новатором. Он был не против резких поступков, шокирующих выходок. Но этими отчаянными выходками можно было выразить гнев, презрение, ярость, насмешку, то есть нечто поверхностное, но никак нельзя было выразить глубоких чувств. Павлом владела любовь, именно любовь он и хотел выразить. Но ведь невозможно выразить любовь, выкладывая на асфальте неприличное слово или совокупляясь с хорьком. Может ли авангард быть иным? – спрашивал себя Павел. Может ли быть новое и радикальное не связано с мочеполовой тематикой, с испражнениями, ругательствами и т. п.? Можно ли радикальными средствами рассказать о любви? Именно любовь, считал Павел, надо выражать искусством.

Сходные вопросы задавали себе люди, наблюдая за новой политикой правительства, тетки, ярящиеся в магазинах на несусветные цены. «И это свобода? – кричали тетки. – Да верните нам колбасу по два двадцать, тогда и будет свобода!» Может ли прийти новое без грабежей, без насилий, без обмана? – спрашивали они себя. И не находили ответа. И еще они спрашивали: почему так жестоко, почему без всякой надежды, почему ничего из того милого и нежного, что было, не может быть сохранено? Ведь было же что-то. Куда дели? Впрочем, тетки всегда спрашивают какую-нибудь ерунду.

Если бы все они – тетки в магазинах, сетующие на обман, старый Соломон Рихтер, переживающий свою неполноценность от непонимания нового, Павел, томящийся от неприятия современного искусства, беженцы из южных городов, некогда застроенных здравницами, а нынче стертых в прах артиллерийским огнем, партийные демагоги, лишившиеся работы и пошедшие торговать недвижимостью, если бы все они могли объединить свой опыт, то уже тогда сделалось бы понятным то, что так очевидно сейчас, что, собственно, никогда и не скрывалось, и надо было специально стараться этого не видеть и не понимать.

Новый мир сводил счеты с миром модернизма, с миром утопий Сезанна и Маркса, Ленина, Пикассо и Ван Гога, мир не мог простить модернизму своей наивной веры, своей истраченной юности. И местом сведения счетов была выбрана Российская империя – то есть то пространство, где модернизм когда-то провозгласил победу и где он должен был сейчас покаяться и умереть. То, что новые французские философы и пожилые юноши из московских кружков именовали «постмодернизмом», было придумано единственно ради того, чтобы революции больше никогда не случались, чтобы никакая идея и никакое намерение не овладели человеком всерьез, чтобы страсть и пафос не беспокоили больше общество. Общество Запада хотело продлить как можно дольше, а лучше бы навсегда, блаженное состояние покоя и гарантированного отдыха, и для этого родилось движение «постмодернизм». Покой Запада нуждался в том, чтобы Восток был наказан за свое революционное прошлое, чтобы он покался. И Россия платила за свое революционное прошлое сполна, каялась, выла и молила о прощении. Но прощать ее не собирались.

Ни тетки, ни Павел, ни старый Рихтер, разумеется, не могли поговорить и сообщая осознать происходящее. Павел по-прежнему ругал себя за неумение использовать новый язык для объяснения в любви. Гуляя с Лизой Травкиной (а он познакомился с ней на том памятном вернисаже) по старым московским переулкам, говоря с ней о любви, он чувствовал, что изъясняется каким-то устаревшим, вчерашним языком. И отношения их, тихие, дружеские отношения, казались ему излишне патриархальными. Наверное, так происходит оттого, что любовь – непременно новое состояние, а я не умею принять новое, думал он. Он расспрашивал Лизу о ее друзьях, и Лиза отвечала так просто и мило, словно это были их общие друзья и отдельной от Павла жизни у нее никогда не было. «А с кем тогда ты на выставку пришла?» –

«Ах, это же Валя Курицын, славный мальчик». – «Он что, художник?» – «Нет, оформитель. Рисует этикетки, товарные знаки, рекламой занимается». – «И зачем ты с ним дружила? Интересно было?» – «Зачем вообще люди дружат? Он хороший мальчик, веселый». – «Курицын. Ну и фамилия. Этикетки рисует! Подумать только!» – «Ему нравится. Он красиво этикетки рисует». – «Вот как». Но и ревновать Лизу у Павла не получалось. Павел задавал обидные вопросы, а Лиза растерянно улыбалась и не знала, что сказать, – оправдываться ей было не в чем: что за вина такая – сходить с Валея Курицыным на выставку? «А ты его и полюбить могла бы?», – спрашивал Павел, впрочем, он заранее знал ответ. – «А за что же его любить?» Раздражение на неизвестного Курицына не находило никакого выхода – понятно ведь, что он не соперник, да и что плохого сделал этот Курицын? Какие-то люди должны ведь рисовать этикетки, иначе что же на бутылки клеить? Дело это, может быть, и не слишком вдохновенное, но нужное. Возможно, если бы у Павла получилось всерьез приревновать Лизу, это подстегнуло бы его любовь. Страсть должна потрясать человека, как потрясает искусство, а чувство к Лизе Павла не потрясало. Все чаще его посещало совсем другое, противоположное любви чувство. Он, словно со стороны, видел, как в нем зарождается дурное, злое и заполняет все его существо. Он сам определял это неясное начало как ненависть, но не мог сказать: к кому, к чему эта ненависть. К режиму? Но его и нет никакого. К стране? Он не знал других стран, и ему казалось странным ненавидеть то единственное место, которое он мог назвать своим. К каким-то людям? Но к каким людям конкретно, он ответить не мог. К мальчикам, которые выдают себя за узников лагерей? К Курицыну, который профанирует святое занятие искусством и рисует этикетки? Но ненависти они не заслужили. И однако ненависть приступами душила его и застилала глаза мутным маревом. Он глядел на развязного юношу в телевизоре, рекламирующего кетчуп, на холст с квадратиками – и делалось трудно дышать. Ни совокупление с хорьком, ни ругательное слово, написанное на площади, никакое другое самовыражение, претендующее на радикальность и агрессию, и отдаленно не передавали эту захватывающую его всего ненависть. Куда ни повернись, на что ни посмотри, все криво, все не так. Курицын, хорек, газеты, рыночная экономика – почему все так противно? Что-то главное разрушено, только что? Все пришло в негодность. Все распалось. И среди кривых заборов и руин, поверх которых лепили пестрые плакаты, кривилась его собственная жизнь.

4

Приготовление палитры – ответственное занятие. Можно сказать, что правильно приготовленная палитра уже содержит в себе будущую картину. Художник задает основные темы будущего произведения тем, как он располагает краски на палитре. Палитра – увертюра будущего произведения. Темы, сюжеты, характеры того, что появится на холсте, выражены на палитре в сгущенном, концентрированном виде – в виде цветов, готовых или соединиться друг с другом, или выступить самим по себе. Бледные, яркие, кричащие, они уже содержат в себе набор эмоций и мыслей, которые автор передаст картине. Вероятно, некое чувство может быть выражено лишь путем смешения красок. В таком случае краски надо определить как прото-эмоции, элементы алхимии. То, какие краски помещаются на палитре и в какой последовательности они располагаются, говорит о художнике практически все. Делакруа любил повторять, что при виде палитры художник приходит в возбуждение, подобно воину, видящему доспехи. Я добавлю к этому, что ни одна кираса не должна быть вычищена столь тщательно, как палитра. Грязная палитра указывает на сумбур в мыслях художника; случайно подобранная комбинация цветов говорит о слабом интеллекте; грязные замесы (то, что живописцы называют «фузой») говорят о его мелочности или низости. Напротив, если перед нами отполированная в работе, оригинально составленная палитра, она представляет сложившийся характер, особую и яркую судьбу. Палитра должна быть изготовлена из красного дерева, чтобы ее естественный теплый

цвет являлся камертоном при работе с другими цветами. Но главное в палитре – порядок расположения красок, их столкновения.

Существуют четыре метода приготовления палитры. Первый – это расположение цветов по спектру, разбег красок от желтой до фиолетовой, подобно тому, как мы наблюдаем это в радуге. Адептом такой палитры следует считать Сезанна; такой спектр принято усиливать белой и черной красками, не вполне считая их цветами. Второй метод – расположение красок по контрастам. Здесь каждый цвет уравнивается неразлучным противником: красный – зеленым, оранжевый – голубым; черный и белый в данной концепции принято считать цветами. Корифеем подобного метода – Делакруа, он считал, что подсмотрел его у Веронезе. Третий метод – аранжировка основного цвета его подобиями. На этот метод намекает Гоген в известном совете, данном Ван Гогу по поводу подсолнухов, – «усиливать желтый желтым, а тот, в свою очередь, еще более желтым». Этот метод позволяет цвету раскрыться не через столкновения, а через созвучия. Четвертый метод – приготовление палитры на случай, без системы. Замысел и пристрастия диктуют выбор цветов. Палитра в данном случае не представляет концепцию, но является отчетом о страстях художника. Такова палитра Рембрандта, не употреблявшего синей краски.

Есть школа, учащая работать попеременно с двумя палитрами. Художник держит вторую (как правило, более контрастную) палитру про запас и, исчерпав выразительность первой, переходит ко второй.

Распространено мнение, будто краски соответствуют чувствам. Так, принято считать, что красный – цвет страсти, синий – цвет медитации, белый – цвет невинности и т. д. Равным образом на особое предназначение каждой краски указывает и принятая в христианском, например, искусстве символика цвета. Трудно оспорить простой факт, что разным человеческим настроениям или страстям созвучны разные цвета. В контексте сказанного любопытно звучит правило «никогда не смешивать более трех цветов – выйдет грязь».

Тот, кто владеет палитрой, владеет своими чувствами.

Глава 4

Мальчики на пустыре

I

Когда мальчики гуляли на пустыре, они снимали с себя пионерские галстуки, комкали их и засовывали в портфели. Они делали так не потому, что презирали советские порядки – к тому времени советские порядки уже умерли, пионерская организация доживала последние дни. Просто без пионерских галстуков мальчики казались себе взрослыми. Пустырь начинался сразу за школьным двором; мальчики после занятий вылезали через дыру в заборе и шли по заросшему репейником пространству. Они говорили, как взрослые, не перебивали друг друга и внимательно слушали. Эти мальчики много читали и, как бывает с детьми, верили во все, что написано.

– Ты патриот? – спросил один. Слово «патриот» прозвучало как оскорбление. В те годы «патриотами» именовали себя те, кто не хотел двигаться к западному прогрессу. Все свободо-мыслящие люди называли людей косных «патриотами».

– Я считаю, что мы три раза спасли мир, вот и все.

– Кто это – мы?

– Русские, понятно кто.

– Мы спасли мир? Мы его замусорили! – и мальчик поддал ногой консервную банку.

– Три раза спасли, зачем спорить.

– Русские спасли мир! Это лагерями, да?

– Нет, не лагерями, а русскими солдатами.

– Когда же это? – горячился мальчик. – От кого же это? – два раза он про себя насчитал, вернее, понял, что имеет в виду собеседник, а третий в голову не шел.

– Татары, французы, немцы.

– Ты с ума сошел? От Наполеона, что ли, спасли?

– От Наполеона!

– А зачем было от него спасать? Нечего сказать, удружили! Он герой, гений!

– Хорош гений, полмира кровью залил.

– Он свободу нес! Демократию! Прогресс! Крепостное право отменить хотел!

– Москву сжег, спасибо за такой прогресс.

– Москву сами русские сожгли! Наполеон бы этого не допустил. Если хочешь знать, он собственноручно расстреливал мародеров.

– Не очень ему это помогло: мародеры на Смоленской дороге себе ни крошки на обратный путь не оставили. Только я думаю, он лично своими ручками ничего не делал.

– Наполеон был лично очень храбр. Помнишь Аркольский мост? Как он бросился под пули!

– Он тогда императором не был. А как стал императором – бросаться перестал.

– Наполеон – воплощение мирового духа! Это Гегель сказал. Ты читал Гегеля? – небрежно спросил мальчик своего одноклассника. Сам он на такие вопросы отвечал утвердительно, а если интересовались подробностями, говорил, что книжку еще не дочитал до конца.

– Не читал, – сказал другой мальчик, – а надо?

– Если историю хочешь понять – обязательно. Вот, например, Гегель пишет, что Наполеон – носитель мирового духа.

– Чтобы дух нести – ему армия нужна, так получается?

– В девятнадцатом веке мировой дух воплотился в Наполеона. Мировой дух – он все время где-то проявляется. Гегель увидел в окно Наполеона и сказал, что это мировой дух сидит верхом на лошади.

– А что мировой дух еще делает? На лошади сидеть всякий дурак сможет.

– Гегель говорил: смеяться над великим – привилегия лакея. Только от этого ни ума, ни знаний не прибавится. Наполеон воплощал историю – в этом его великая задача.

– Ну и воплощал бы у себя дома.

– Не мог он дома сидеть, потому что мировой дух должен действовать. История движется, потому что идет шествие мирового духа. У Гегеля написано про страны, которые в историю попали только потому, что в них пришел мировой дух.

– История, она что, только с кавалерией передвигается? Прямо танец с саблями какой-то! Может, и не надо такой истории? Гитлер, он тоже воплощал историю, да? Мировой дух на «мессершмитте»?

– При чем здесь Гитлер! Гитлер – палач. А Наполеон нес дух свободы.

– Я разницы не вижу! Что тот, что этот – мы никого не звали! У нас своя история, нечего соваться. И знаешь, по-моему, наша история без Гитлера с Наполеоном была бы лучше.

– Если бы ты Гегеля читал, то глупостей бы не говорил, – сказал мальчик высокомерно. – Мировой дух на месте стоять не может. Ему надо познать себя.

– И ходит он по миру, как привидение?

– Почитай Гегеля, там все сказано.

– Не стану. Я вот «Гамлета» читаю.

Поскольку взрослых рядом не было и никто не мог сказать мальчикам, что в принципе это одно и то же и самопознание духа завершается в пьесе поголовным истреблением участников, то есть концом истории, – то мальчики остались каждый при своей книжке. Философический мальчик глядел на беллетристического мальчика свысока.

– По-твоему, история – это что такое? Скажи, если можешь.

– Как «что»? Все. Все, что с нами происходит, и есть история. Тебе пару поставили за контрольную – вот и история. Пошли гулять – опять история. И то, что Наполеону вломили, – тоже история.

– Ничего ты не понимаешь. Это – случайности, никому и не интересные. Мелкие подробности – это истории все равно. История – это движение духа от страны к стране, по континентам. Вот ты, скажем, чем объяснишь, что в Китае нет истории?

– Почему это? Раз люди живут – значит, история есть.

– Китай выпал из истории много тысяч лет назад, если хочешь знать. Его покинул мировой дух. А Россия, как, по-твоему, имеет историю – или нет?

– Конечно, имеет, что она, хуже других, что ли?

– Нет у нас никакой истории, так, дрянь одна. Россия – это внеисторическое пространство, Чаадаева почитай. Мы просто существуем, если хочешь знать, а смысла исторического нет.

– Какой еще смысл нужен, кроме жизни?

– Исторический смысл. Допустим, тебе самому твоя собственная жизнь интересна, а для истории в целом в твоей жизни смысла нет.

– И пусть, главное – мне самому нравится. Что ты мне тычешь Гегеля и Чаадаева. Мало ли чего они там написали! Что я для их удовольствия живу, что ли? У них своя жизнь, у меня своя. И плевал я на их историю.

– Тебе наплевать на историю, а ей – на тебя. Кто дальше плюнет, еще посмотрим. Ведь должен быть смысл в жизни, который важнее самой жизни? Или жить, как трава – от лета до зимы?

– Смысл один – гадостей не делай. И никому не давай. И другого смысла не надо.

– Я про общий смысл говорю. Сказать, почему в России истории нет? Потому что она еще к этому общему смыслу не подошла. Мы, как невоспитанные дети, варвары, одним словом. Учимся плохо, мешаем историческому замыслу.

– Я лично никому не мешаю, лишь бы меня не трогали.

– Если история развивается со смыслом, значит, одни события помогают движению истории, а другие мешают. Ты, может быть, думаешь, что плохого не делаешь, а на самом деле тормозишь прогресс.

– Почему это я прогресс торможу?

– Потому что ты варвар и взгляды у тебя варварские.

– Это у твоего Гегеля так написано? Значит, тех людей, которые истории помогают, надо уважать, а других – давить? Получается, без завоевателей не обойтись. Живем мы, дурни примитивные, перемаемся, а они, благодетели, нас убьют и в историю впишут. Зачем истории такой смысл? Пусть лучше благодетели у себя дома сидят. А придут к нам – мы их остановим.

– Россия всех спасет!

– Получается, больше некому.

– И Наполеона остановим, и лагеря установим! И весь мир захватим, везде помойку учиним. То-то славно!

– Мы никого не захватывали. Освобождали, это да.

– Чехословакию, например. От чехов. В Прагу мы танки зачем ввели? Прогресса люди хотели. Кому мешало?

– Не понравилось им, значит, что мы танки ввели.

– А тебе понравилось бы, если бы к тебе домой на танке приехали?

– А когда их в сорок пятом освобождали, когда в сорок пятом году танки вводили – им нравилось? Дед там воевал, он летчик был. Он везде воевал, и в Испании летал, и с немцами дрался. Там в Германии и погиб – он на таран пошел.

– При чем тут твой дед?

– Просто вспомнил. Много наших погибло за эту самую Прагу: немцы в нее мертво вцепились. В первый раз нас цветами встречали. А во второй раз – обиделись. Подождем до третьего раза, я так думаю. Может, им опять помощь нужна будет. Я чехов люблю, хороший народ. Живут нормально, пиво пьют, забот никаких. Русским бы так!

– А русским и так хорошо, с заботами. У нас не в том радость, – нам бы вот кого освободить, это да. Просят, не просят – все равно освободим. Пускай они тоже свободные по пустырям погуляют! – мальчик говорил и переживал.

– Перестань, – ответил другой мальчик, – кому мы сегодня мешаем? Наоборот – сюда, к нам, все лезут.

– Слава богу, наконец-то добрались до коммунистов! – его собеседник произнес эти слова солидно, как человек, уставший от коммунистической диктатуры.

– Ты мне лучше скажи, зачем они на наши пустыри суются, если здесь так плохо? Медом эта помойка, что ли, намазана? Одного не пойму: кому мешает, что нам плохо? Что они все сюда лезут, на эту свалку, на что зарятся? Давно бы махнули на нас рукой – а им все покоя нет. По-моему, и Македонский где-то в Скифии очутился. Зачем он-то поперся?

– Черная дыра! Болото! Что сюда ни попадет, сгинет к чертовой матери! Нашел чем гордиться! Македонского с Наполеоном русские уморили!

– Не волнуйся ты за своих благодетелей! Новых македонских так просто не уморить.

– Ты хоть уважительно говори про тех, кто прогресс твоей стране несет!

– А я не просил. Кому прогресс нравится – пусть туда и едет. Слушай, чего тебе здесь делать? Поехал бы, как все едут. Где история, куда подальше, туда и поезжай!

– Я бы хоть завтра. Кто пустит? Нет, вы здесь, на Родине, уморите. Носом в портянку повонючее. Чтоб понял, как Родину надо любить. Что полсвета социализмом загадили, стену

поперек Берлина поставили, лагерей понастроили – это мы мир защищали. Только почему в России так погано, а во Франции так хорошо? Почему во Франции великая культура – а у нас пустыри да свалки?

– Во Франции не был, не знаю, а у России культура великая. Такой больше нет. Уж лучше пустыри, чем Наполеон и Гитлер.

– Гитлера разбила, кстати, коалиция!

– В сорок четвертом году еле раскачалась твоя коалиция.

– А Англия?

– Что – Англия?

– Англия не участвовала в победе?

– Что там зависело от этой Англии! По Африке два батальона гоняли взад-вперед.

– Значит, три раза спасли русские мир?

– Три раза.

– А англичане никогда не спасали? Нельсон разве при Трафальгаре не победил?

– Что проку от твоего Нельсона без Кутузова?

– А Карл Великий?

– Арабов резал? Дело хорошее. В Израиле его любить должны. А так, что с него проку?

– Русская похвальба всегда кончается одинаково: бей жидов, спасай Россию!

– Мы, кажется, про евреев не говорили. И Россию спасти не нужно. Она как-нибудь сама. Может, в ней одной-то история и есть, иначе с чего бы она всем так мешала.

– История у нее есть – как бы побольше народу съесть. Она ведь живет потому, что ест свой народ. И тебя сожрет, и меня.

II

Мальчики замолчали и шли некоторое время молча. Почти все их разговоры кончались одинаково. Они не ссорились, совсем нет, и без этих разговоров не могли обойтись, но всегда наступал некий предел, за которым следовало раздражение, и они научились останавливаться. Один из мальчиков считал себя гражданином мира – так он был обучен в семье, он много читал и тяготился тем, что ему предстоит всю жизнь прожить на окраине цивилизации. Другой мальчик жил в бедной семье в бараке, испытывал патриотические чувства, гордился своим убогим домом – и обижался, если школьный друг давал ему понять, что жизнь вокруг плохая. Пока они шли в молчании, каждый из них придумывал про себя новые аргументы и вспоминал прочитанные книжки, которые надо привести в пример. Им обоим, как обычно это бывает, казалось, что главного они не сказали и не получилось выразить то, что они чувствуют и думают. Они готовили новые реплики, чтобы использовать в новом разговоре, но этот, сегодняшний, возобновлять не хотелось. Один думал: надо было сказать, что Россия пресекает любое движение истории. Здесь, на этой территории, все останавливается. Сестра брала его на лекции и семинары в клубы прогрессивных деятелей культуры – и он научился говорить сложными книжными словами. Да, так и надо будет сказать в следующий раз. Еще он подумал, что нужно найти отличие в движении войск Наполеона и Гитлера. Ведь ясно же, что это совсем разные вещи, а объяснить не получается. Или, скажем, Чингисхан и его походы, это движение мирового духа или нет? Постепенно мысли обоих успокоились и вернулись к другим вещам.

– Уеду к нашим, в деревню, – сказал другой мальчик, патристически настроенный, – возьму удочки. Надоел город.

Почему-то его собеседнику обидными показались слова вполне безобидные – «к нашим», «деревня», «удочки». Было в них что-то вульгарное и добротное, что-то безнадежное. Так вот у них все здесь устроено, бессвязно думал мальчик, они любят место, в котором живут, они все договорились, а я тут лишний. И должен терпеть. Вечерняя жара давила и томила, воздух

можно было осязать как чужое неприятное тело. Московское лето миновало легкий июньский обман и вошло в пору расцвета – потного, несвежего. Хотелось одного – вдохнуть воздуха, но стоило открыть рот, и внутрь входила плотная горячая атмосфера, и дышать делалось тяжелей.

– А я уеду в Париж, – сказал первый мальчик, – я буду жить на набережной Анатоля Франса, окнами на Сену. Вечером буду выходить на балкон и смотреть вниз, на реку. Я люблю седьмой арондисман. По нему проходит бульвар Сен-Жермен, а это мой любимый бульвар. Представляешь, я буду смотреть на баржи на Сене, ходить в Лувр, гулять под каштанами и никогда уже не увижу ни нашего пустыря, ни пятидесятого отделения милиции, ни нашей школы. «Ротонда», кафе «Ля Куполь», мне все знакомо.

– Как же ты без нашего пустыря? Где гулять будешь?

– Уж найду место, – мальчик начинал говорить в шутку, но неожиданно разволновался, внезапно его охватила тоска, непонятная ему, щемящая сердце тоска по счастью. Он отчетливо понимал, что никуда и никогда с этого пустыря не денется и никакого счастья в его жизни не будет. Это было тем более странно, что у него не было никакого представления о счастье; он никогда не целовал девушку, не гулял под луной, не пил вина, не делал ничего такого, что отвечало бы взрослому знанию счастья, – но вдруг ему сделалось непереносимо тоскливо: он почувствовал, что никогда не будет счастлив на этом пустыре, он почувствовал, как проходит его жизнь, как она уходит от него каждую секунду, как бессмысленно текут душные летние дни. Он посмотрел по сторонам, и у него перехватило дыхание от бессилия. Он чувствовал, что в груди у него живет горе, но не мог выразить это – ни словами, ни даже ясными мыслями. Дело было не в истории и не в мировом духе, а в самой жизни, которая уходила прочь, и он вдруг это почувствовал. И поделиться таким горем было невозможно.

– Ты вот в Париж уедешь, – сказал другой мальчик, которого точно так же, как и первого, покорила речь собеседника, он обиделся на слова «Париж», «бульвар Сен-Жермен». Эти слова рассказывали о таком мире, в котором его дом и маленькая комната, где он жил с мамой, делались вовсе жалкими, – ты уедешь в Париж и знать нас не будешь. А мы здесь останемся. Нас в Париж не позовут. Мы в другом месте живем. Знаешь, откуда Ванька родом? – Ванька был их одноклассник, с которым мальчики не особенно дружили, потому что Ванька не любил читать. – Знаешь, где его родители живут?

– Где?

– Деревня называется – Грязь. Он из этой деревни в Москву учиться приехал. У них там школы нет. Десять классов закончит и обратно поедет.

– Пусть остается, – великодушно сказал первый мальчик, – Москва большая.

Так шли они, огибая канавы и кучи мусора, и, сколько видел глаз, впереди тянулся пустырь, сухой и скучный.

Потом один мальчик спросил:

– Скажи, а за что ты смог бы отдать жизнь?

– Отдать жизнь? За разное, наверное.

– Я серьезно спрашиваю. За что?

– Да мало ли за что. Я много чего люблю.

– Так любишь, что жизнь отдашь?

– Ну не знаю. А ты за что?

– За свободу. Нет, вообще-то, не знаю. Наверное, все-таки за свободу.

– За чью?

Мальчик не мог ответить, не знал. Отдавать жизнь не хотелось. Вместо ответа он спросил:

– Слушай, я тебе рассказывал, как видел тетку с лисьей мордой?

– Как это?

– Шел из школы, темно уже, а впереди меня тетка на высоких каблуках. Когда я ее почти догнал, она ко мне как обернется, а лица у нее нет – нет лица!

- А что же есть?
- Морда как у лисы. Лисья морда рыжая.
- Врешь. Как же ты в темноте увидел?
- Она как раз под фонарем шла и повернулась. Резко так повернулась и залаяла.
- Как это?
- Как лисы лают. С подвывом.
- Прямо лиса?
- Шерстяная морда, рыжая с клыками.
- Может, она в лисьей шубе была? Или воротник из лисы. Напугать тебя захотела и залаяла.
- Летом, что ли, она шубу надела?
- Попугать решила. Некоторые тетки специально в шубы летом одеваются. А потом резко распахнут. А под шубой – голая. Чтобы завлечь.
- Нет, это была настоящая лиса. Понимаешь, лиса.
- Мальчишки шли некоторое время молча и думали теперь о лисе. День шел к закату, но жара не спадала.
- Давай на пруд сбегает, – сказал один.
- Побежали.
- А может, она с карнавала шла – в маске? Может, пошутить хотела?
- Хорошие шутки. Я испугался, она меня загрызет.
- А может, это тебе мировой дух в лисьей шкуре явился?
- Зачем мировому духу лисой притворяться?
- Ну, Наполеоном дух уже был, Гитлером тоже был, а теперь в виде лисы явился.
- Зачем ему в виде лисы являться? – ученый спор был позади, и мальчишки снова разговаривали, как обычные мальчишки. – Зачем мировому духу лисья морда?
- Может, устал притворяться? Раньше притворялся, а теперь надоело. Может, это как раз его настоящее лицо?
- Скажешь тоже.
- А какое же у него лицо? Вот именно такое и есть. Морда клыкастая.

Они выбежали на Патриаршие пруды и, бросив портфели, присоединились к мальчишкам, носившимся вдоль пруда. Скоро Антон Травкин (а первого из мальчиков звали именно так) устал от бега; ему всегда быстро надоедала игра. В любой компании он очень скоро уставал – ему хотелось вернуться к книгам. Он вышел на Бронную улицу и, пройдя несколько шагов, увидел художника Струева. Он узнал его сразу: сестра показывала ему Струева издали, на выставках. Про Струева много рассказывала одноклассница Антона – Сонечка Татарникова; Струев был знакомым ее родителей. По их рассказам, Струев выходил совершенно особенным человеком. Особенный человек стоял посреди тротуара, скроив свою знаменитую гримасу: полуоткрытый рот, оскаленные желтые зубы. Неожиданно Струев приподнял пакеты, которые держал в руках, швырнул их в мусорный бак и плюнул на землю. «Проклятая страна!» – громко сказал он. И Антон, который только что доказывал своему товарищу то же самое, повторил за ним тихо: «Проклятая страна!»

5

Нанося краски на холст, надлежит помнить, что рано или поздно они соединятся – хочет того живописец или нет – в нечто, что сами художники именуют карнацией. Карнация – это некий средний цвет картины, это, так сказать, общее впечатление о цвете, которое запоминает глаз. Карнация – это таинственный красочный сплав, который остается в памяти после просмотра полотна. Можно не помнить, что нарисовано на пейзаже Сезанна, и тем более не

помнить, какого цвета дерево, а какого – дом, но запомнить при этом, какого цвета картина. Необъяснимо, каким образом красные, зеленые, охристые и синие краски, которые употребляет Сезанн (а он пользовался очень богатой палитрой), соединяются в нашей памяти в единую прохладную лиловую среду, в нечто напоминающее всеми цветовыми характеристиками камень. Этот прохладный цвет твердой скалы и есть карнация картин Сезанна. Достаточно сказать, что карнация Рембрандта мягко-золотая, Ватто – сухая капустно-зеленая, Остаде – жарко-горчичная, Шардена – цвета воды в Сене, то есть зелено-охристая, а Матисса – цвета синего городского вечера. Иными словами, карнация – это убеждения и пристрастия, это человеческий опыт, выраженный цветом.

Пожалуй, карнация – это единственное, чему нельзя научить. Она индивидуальна, как отпечаток пальца. Невозможно стремиться создать ту или иную карнацию; она получается неизбежно, сама собой. Можно регулировать сочетания цветов, иными словами, можно управлять колоритом, но карнация возникает помимо колорита – иногда вопреки ему. Скажем, колорит картин Якоба Рейсдаля, скорее всего, бутыльно-зеленый – это цвет, который он употребляет чаще других, рисуя свои бесконечные чащи, и оттеняет его лиловым небом и серо-охристым песком. Сходный колорит у Гоббеми, вполне можно предположить, что они пользовались примерно одной палитрой. Однако существует огромная разница в карнации того и другого. Карнация Рейсдаля – тяжело-свинцовая; у Гоббеми она серебристая, легкая. Невозможно объяснить, как это достигается.

Иные склонны видеть в цветном грунте первый шаг к карнации. Действительно, цветной грунт сразу вводит художника в среду будущего произведения. Многие художники покрывают чистый холст неким средним тоном своей палитры – и потом словно вылавливают в нем отдельные яркие цвета. Так поступали испанцы, этот прием характерен для позднего маньеризма, например для Маньяско или Креспи. Широко известны жаркие терракотовые грунты, на их основе любил писать Рубенс. Иногда и сам материал играет роль среды. Например, светящаяся основа незалекашенной доски, не покрытой левкасом (а она на Севере играла роль цветного грунта), уже сама по себе передает природу Голландии. Художник пишет пасмурный день, но сквозь холодный серый цвет светится теплое дерево, давая эффект движения теплого воздуха. Эль Греко делал прямо наоборот: он пользовался холодными темно-коричневыми грунтами (как правило, на основе умбры), что позволяло ему несколькими широкими мазками прозрачной серебристой краски создавать эффект грозового неба. Впрочем, подлинное мастерство позволяет художнику воспринимать и белый грунт как цвет среды и пространства – поэтому отсылка к цветным грунтам не кажется мне решающей для определения карнации.

Мне представляется, что карнация относится к колориту так же, как душа относится к знаниям, так же, как человеческая сущность относится к набору врожденных свойств и усвоенных привычек. Она, безусловно, состоит из них и более не из чего, но она больше них, и единственно она и интересна. Иногда нам встречаются люди, сущность которых не вполне ясна или даже очень мутна. Часто также встречаются картины, лишенные этого сгустка смысла и выражения, именуемого карнацией. Кажется, все правила соблюдены, но эффект не достигнут. Одна из привлекательных сторон искусства состоит в том, что имитировать его невозможно.

Глава 5

Открытое общество

I

На завтрак отец Николай Павлинов съел три небольших бутерброда с черной икрой, немного осетрины холодного копчения, домашнего приготовления творожок с малиновым вареньем, сыр груэр, настоящий, французский, половину холодной копченой курицы и две груши. Запил же он все это двумя чашками превосходно сваренного кофе (к творогу и сыру), стаканом свежевыжатого грейпфрутового сока (с курицей), бокалом холодного белого вина (к икре и осетрине). Вытерев полные белые руки салфеткой и посидев две-три минуты в полнейшем покое, глядя в окно, отец Николай стал собираться в бассейн. Многие советовали ему воздерживаться от плотной закуски перед занятиями плаванием, но отец Николай успел убедиться, что теория сия неверна – напротив того: плавая, он препятствовал процессу ожирения, а с другой стороны, от интенсивных движений проходило ощущение сытости и даже опять подступал голод. Так что ко времени второго завтрака он уже чувствовал себя легко, необремененно, и даже как-то слегка подводило живот. Не буквально спазмы голода, конечно, но легкое сдавливание желудка как бы предупреждало, что, мол, дела делами, а пора к столу.

Сегодня это подтвердилось снова: придя из бассейна, он уже испытывал потребность в еде, но сдержался – предстоял ответственный доклад в только что созданном институте, и разомлеть от еды не хотелось. Он переоделся в просторную лиловую рясу со стоячим белым воротничком на католический манер и спустился вниз во двор, где его ждала машина.

– В «Открытое общество», Гена, – сказал отец Николай и откинулся на подушку сиденья, – поезжай бульварами, там сейчас тень. Любопытно, Гена, дождемся ли мы сегодня Татарникова? Отпустит ли господина профессора семейство? Нужен нам сегодня Сереженька и его знания.

Отец Николай Павлинов был вовсе не похож на профессора Татарникова, хотя отношения, связавшие этих людей, иной назвал бы дружбой. Если Сергей Ильич Татарников напоминал кривой кирпичный барак, то отец Николай походил на небольшой особняк XVIII века, двухэтажный, с мезонином, с уютными полукруглыми окнами, с печками с изразцами, с навозщенными полами и мебелью красного дерева. И значительную часть этого особняка занимали столовая и буфет. Служил ли в столице отец Николай или по делам обновленческой Церкви бывал командирован за рубеж, иными словами, где бы он ни находился, в расписании его дня гастрономия занимала первое место. Обыкновенно при встрече с другом Сережей Татарниковым отец Николай рассказывал из своей жизни так:

– Являемся к отцу Паисию на рю Дарю, в русскую церковь. Исключительно интересная миссия, огромные перспективы для экуменизма. Зовет отобедать в рыбный ресторан «Навигатор»? Не бывал?

– Нет, Коля, не пришлось, извини.

– Рекомендую горячо и настоятельно. На углу широкой улицы, что прямо к реке идет. Как бишь ее?

– Не знаю, Коля.

– Историк, а простых вещей не знаешь. Детали надо запоминать. Параллельно Сен Мишелю и аккуратно упирается в собор; людная такая улица. Заходим; прилично и со вкусом оформлено. У них, знаешь ли, сразу видно, правильный ресторан или так себе, для второсортного туриста. Бросишь взгляд вокруг – и меню спрашивать не надо. Смотришь, допустим, как

интерьер организован – и понятно, что заказывать. Вижу, место замечательное. И вот, представь, парадокс: подают моллюсков и тепловатое белое вино «Мускадет». Попросил Паисия переводить и спрашиваю гарсона: вы, голубчик, знаете доброе правило – есть морепродукты только в месяцы с буквой «р»: сентябрь, октябрь и так далее? Глаза вылупил, прохвост, ничего не понимает. Так вот, говорю, мало того что вы нам моллюсков подаете в мае, вы к ним еще и «Мускадет» принесли. Вы бы еще ликер предложили к устрицам. Разве это дело, голубчик? Что же вы Францию позорите? Шабли, что ли, нету? И чтобы со льда было. Моллюска под лимоном проглотить, глоточек вина сделать – и чтобы зубы от холода заломило, вот как надо. И что же выяснилось?

– Да, что выяснилось?

– А русский он, гарсон-то! Вот в чем заваyka! Наш мужичок, вологодский. Притворяется только цивилизованным! Алешка – обыкновенный дурень Алешка, и взять с него нечего! Ах да, рю Жакоб, вот это где. Научил я шельму. Принес великолепнейшее шабли, отменный бургундский виноградник – франков шестьсот бутылка.

– Денег тебе девать некуда, Коля.

– Экономить на хорошем шабли грешно.

– Каюсь, отче. Не чревоугодием повинен, но экономией на шабли.

– Горько, Сережа, горько это слушать. У нас в России мужи науки, те, кого Отечество пестовать обязано, лишены элементарнейших благ – это великая беда нашей земли. Позор России.

Так обычно разговаривали отец Николай Павлинов и Сергей Татарников, и – рано или поздно – отец Николай открывал большой телячьей кожи портфель и доставал бутылку шабли.

– Вот она, красавица. Сама к тебе пришла. Ну, как теперь не попробовать?

– Знаешь же, Коля, что у меня язва, не могу я сухого.

– А на этот случай захватил я водочки.

И, как всегда, усаживались они в кабинете Татарникова, причем профессор из лафитника пил водку, а батюшка из тонкой рюмки прихлебывал шабли.

II

Здесь следует сказать, что если отец Николай Павлинов постоянно ел, то профессор Сергей Татарников все время пил; редкий день обходился без распития спиртного, сегодняшний не был исключением. Пока машина отца Николая мягко катила бульварами и узкими переулками, в доме Татарникова происходил следующий разговор. Сергей Ильич как раз вернулся из Института истории, где встретил доброго знакомого, специалиста по римским монетам. Спустились в буфет, и как-то само собой случилось так, что за полуденным чаем ученые распили бутылку водки. Татарников открывал дверь квартиры и уже знал, что его ждет.

Жена Татарникова, дама с полными щеками, Зоя Тарасовна, известная среди домашних как Зоюшка, и ее дочь от первого брака, смуглая девушка с крупными зубами по имени Сонечка, встречали мужа и отчима такими словами:

– Ах, что ж это с нами случилось, герр профессор? Уж не угостились ли мы водкой, как и вчера? Уж не нажрались ли мы часом как свинья? Уж не блевать ли мы собрались в передней? – говорила Зоя Тарасовна, театрально разводя руками и делая книксен.

– Ах, зачем, зачем ты, Сережа, опять выпил? – это говорила Сонечка, называвшая лысого пожилого отчима ласковым уменьшительным именем.

– Что это у нас ключ в замочную скважину не попадает? Руки от исторических занятий трясутся? Скорбим над миром, оттого и руки у нас дрожат, и ноги заплетаются.

– Мама варенье для тебя сварила, Сережа. Варенье из розовых лепестков.

– Нам только розовых лепестков не хватает, не правда ли, герр профессор? Занюхивать станем розовыми лепестками, глядишь, полегчает.

– А еще, Сережа, тебе звонил отец Николай и звал в «Открытое общество».

– Видите, герр профессор не успел прийти из одного общества, как его зовут в другое. Нарасхват! Без вас не обойдутся! Вы уж непременно, Сергей Ильич, туда загляните. В «Открытом обществе», наверное, и люди открытые, и наливают побольше.

– Отец Николай ждет, что ты придешь, Сережа.

– Не видишь, что ли, Сонечка, что герру профессору надо подумать. У него сейчас с речью затруднительно, а думать он горазд. Сейчас мы встанем на четвереньки и подумаем, что делать: то ли в передней блевать, то ли в «Открытом обществе» открытия делать, – говорила Зоя Тарасовна, качая головой, и длинные волосы ее покачивались возле щек.

Красивое и гладкое лицо супруги Татарникова было обрамлено распущенными волосами. С милой грацией носила она эту девичью прическу, не вполне соответствующую годам: в минуты задумчивости она перебирала локоны, в минуты радостного возбуждения откидывала их назад энергичным движением головы. Когда же Зоя Тарасовна была настроена язвительно и говорила супругу колкости, пряди волос ее мерно покачивались в такт горьким словам. Но не всегда Зоя Тарасовна была такой резкой. Даже и теперь, когда ей было крепко за сорок, порой казалась она милой и беззащитной девочкой, такой, какую и полюбил Сергей Ильич пятнадцать лет назад. Иные скажут, что и тогда она не была ребенком, но первым с таким утверждением не согласился бы сам Сергей Ильич. Он полюбил трогательную щекстую девочку с распущенными волосами – полюбил за беззащитность и доверчивость. Некоторым расстройством для Сергея Ильича явился первый брак Зои Тарасовны. Первым мужем Зоюшки и отцом Сонечки был фарцовщик с Кавказа Тофик Левкоев. Сергей Ильич в былые годы имел обыкновение зло трунить над наивностью Зои Тарасовны, влюбившейся в чеченского жулика. Зоя Тарасовна ложилась в таких случаях лицом вниз на диван и долго плакала, а Татарников, походив взад-вперед по комнате, принимался просить прощения. «Прости, Зоюшка, – говорил он, – ну что я, не понимаю, что ли? Ну влюбилась в придурка, молодая была, кто ж знал, что он такой прохвост. Ну не плачь». Время шло, и Зоя Тарасовна научилась отвечать на попреки. Она говорила так: «Тофик, может быть, бандит, но женщин не обижает». – «Зачем обижать, он им сразу горло режет», – говорил Татарников, однако ему делалось стыдно. Прошло еще немного времени, и Тофик стал известен как крупный предприниматель, эксклюзивный дистрибьютор автомобилей «крайслер», про него писали газеты. Зоя Тарасовна резонно заметила Сергею Ильичу, что пора бы и пригласить Тофика домой.

– Как, домой? – ахнул Татарников. – К нам домой? Этого бандита?

– Между прочим, герр профессор, этот бандит нашей дочери ежемесячно присылает деньги.

– В конце концов, почему бы и нет – она ему дочь как-никак.

– Вот именно – дочь. Твоей дочерью она, видимо, так и не станет. Хотя ты и знаешь Сонечку с детства.

– При чем же здесь это, – и Татарников не нашелся, что ответить.

Скоро в их дом стал приходиться Тофик Левкоев. Он приезжал на огромной машине с тонированными стеклами и иногда брал Зою Тарасовну с Сонечкой кататься. Он заходил в кабинет к Татарникову, цепко жал руку, рассказывал политические новости, и Сергей Ильич, сперва не говоривший ничего, кроме «здравствуйте», приучился его слушать. «Снимать будем первого, – говорил Тофик о премьер-министре. – Надоел. Жрет в три горла». – «А ты можешь его снять?» – хохотала Зоя Тарасовна, откидывая волну волос назад. «Не я, так ребята знакомые займутся». Тофик округлял черные глаза и показывал крупные зубы. Он протягивал Сонечке шоколадку, и Сергей Ильич с ужасом смотрел, как девушка разгрызает плитку крупными зубами и тарашит круглые черные глаза. «Жарко, однако, в Москве, – говорил Тофик,

ослабляя узел оранжевого галстука с лиловыми подковками, – на выходные слетаю на дачу». Выяснилось, что у Тофика дом на Сардинии, и Сонечка отправилась на лето к отцу – на Средиземное море.

– И как живется в бандитских домах, Софья Тофиевна? Из базуки стрелять научилась? – спросил ее Татарников по приезду.

Сонечка расплакалась, а Зоя Тарасовна назвала Татарникова алкоголиком и ушла на два дня к подруге.

Еще хуже стало, когда началась война в Чечне. Сергей Ильич был противник насилия и уж, несомненно, противник российских методов управления. Однако что-то мешало профессору осудить войну в Чечне, и ему как историку неприятно было ощущать в себе эту зависимость в суждениях от каких-то сторонних соображений. Обыкновенно он начинал спорить с Соломоном Рихтером, который говорил: «Позор! Идет геноцид чеченского народа! Возвращаемся к сталинским временам, так получается, да?»

А Татарников отвечал сперва по существу вопроса, а потом обязательно срывался:

– Какие парламентские дебаты? Вы поглядите на эти звериные морды! Для бандита есть только один довод – пуля в лоб! – и при этом ему мерещился лоб Тофика.

– Как вы можете, – ужасался Рихтер, – я уверен, вы так не думаете.

– Именно так и думаю, Соломон! Из крупнокалиберного пулемета!

– Стыд вам, Сергей Ильич! – говорила в этих случаях Зоя Тарасовна. – Историк! Гуманист!

Тофик Левкоев, присутствовавший однажды при споре, высказал неожиданно радикальное суждение.

– Правильно, – поддержал он Татарникова, – мочить надо черножопых. Верно, из пулемета. Отстрелять половину чурок, чтобы другие очухались. Работать не дают, всю Москву бандитскими рожами замутили.

Соломон Моисеевич при этих словах ахнул, открыл рот и уставился на собеседника – крепкого кавказского мужчину в оранжевом галстуке с лиловыми подковками. А отец Николай заметил: «Господь с вами, помилуйте, зачем вы так про народ Кавказа? Кухня кавказская просто отменная. Бывали в ресторане “Тифлис” на Остоженке?» – «Приличное место, – сказал Тофик, – кахетинское у них хорошее». – «Подождите, подождите. А сациви? А лобио как готовят?» И беседа завязалась. Вспоминая об этой и ей подобных беседах, Татарников всякий раз испытывал приступ стыда – за то, что все это происходит в его кабинете, возле полок с библиотекой отца, под фотографиями деда и прадеда – профессоров Московского университета. Не здесь, не в этом доме, не среди книг, собранных подлинными учеными, видеть эти нахальные лица. Ему было неловко перед стариком Рихтером, который и не подозревал о родственных отношениях Татарниковых с Левкоевым. «Что же это за странный мужчина, Сережа?» – «Понимаете, Соломон, это приятель детства». – «Вот видите, Сережа, восточный человек, но сумел подняться над голосом крови. Это нам всем урок. Высказывание его весьма любопытно, вы не считаете?» Сергей Ильич не сумел бы ответить на вопрос, отчего он не стыдится бутылки водки, выпитой в полдень, но стыдится Тофика Левкоева, сидящего в его кабинете, и отца Николая, обсуждающего достоинства лобио. Он говорил себе, что винить некого, он сам виноват, он сам собрал всех этих случайных людей в своем кабинете, значит, так ему самому захотелось, так, вероятно, удобнее. Они не хуже прочих, убеждал он себя. В такие минуты он чувствовал себя бесконечно вялым и слабым. Не было сил углубляться в историю отношений с Зоей Тарасовной, пересматривать все свое окружение, весь уклад жизни. Хуже всего было то, что выхода из этих отношений, по всей видимости, не существовало.

Татарников слушал жену, и в нем привычно просыпалась ярость и, как обычно, не находила выхода; он знал, что дай он ей выход, жизнь испортится вконец: Зоя Тарасовна взметнет

волосами, хлопнет дверьми и уйдет к подруге, Сонечка примется плакать и биться на постели, он сам поедет на холодную дачу и станет пить водку на веранде.

Он сдержался, только прикрыл глаза. Что тут скажешь?

Сонечка продиктовала адрес, по которому учреждалось новое для России «Открытое общество», то был известный Дом ученых. Татарников надел старый отцовский пиджак, который всегда надевал, если предстоял серьезный доклад или важная встреча. Хмель давно выветрился, было бы неплохо выпить еще рюмку для настроения. К нужному часу он уже входил в распахнутые двери «Открытого общества».

Его почти не удивило, что вокруг были знакомые лица: в последние месяцы он привык встречать одних и тех же людей решительно повсюду. Увядавшая было в первые годы перестроенной нищеты столичная жизнь расцвела вновь, двери салонов распахнулись шире прежнего. Ленивая светская жизнь Москвы, что славится застольями, перетекающими одно в другое, вернулась в привычное состояние. Период растерянности и митингов, когда некогда было и в гости сходить, миновал. Столица и ее знаменитости некоторое время приглядывались к новым лицам, привыкали к новым обстоятельствам, приспосабливались к новым ценам. Но – обвыкли, и отработанный столетиями механизм заработал вновь, так же исправно, как работал он и полвека и триста лет тому назад. По вторникам люди искушенные встречались у Вити Чирикова – редактор «Европейского вестника», продолжатель дела покойного Карамзина славились настойками и огурчиками специального засола; по четвергам отправлялись на маскарады и шарады к Яше Шайзенштейну; субботу же проводили у отца Николая, разговляясь на бараньих отбивных. И поскольку избранных лиц в столице не так уж и много, в каждой гостиной непременно встречались одни и те же лица. Одним словом, если разминешься с кем-нибудь у отца Николая Павлинова, то непременно встретишь его у Яши Шайзенштейна. А что вы хотите? Столица, она и есть столица, и жизнь у нее столичная. Коммунизм ли, капитализм ли на дворе, а московская жизнь идет своим чередом – солят грибочки, настаивают водочку на лимонной корке, рисуют жженой пробкой усы в сочельник. Единственным отличием от привычного уклада стало то, что к списку адресов прибавились новые: открылись двери иностранных салонов и домов партаппаратчиков, прежде для интеллигентной публики недоступные. По пятницам Ричард Рейли устраивал долгие коктейли с домашними концертами и сам, кстати, недурно играл на флейте; каждую вторую среду немецкий атташе Фергнюген давал скучный немецкий обед с рейнским вином; а по воскресеньям избранные наезжали в Переделкино на пироги к Алине Багратион, да заодно и хаживали на могилу к Пастернаку, благо в двух шагах.

Сергей Ильич Татарников, человек немолодой и непрыткий, неожиданно для себя тоже сделался гостем модных квартир, но время в гостях проводил всегда одинаково: сидел в углу со стаканом. В беседах он участия не принимал, находя их глупыми, а если встречал в разговор, то непременно с колкостью. По-прежнему его основным маршрутом являлся путь к старику Рихтеру, там было покойнее всего, но было приятно сознавать, что количество адресов, где можно скрыться от домашних бурь, увеличилось. А люди они вроде бы приличные, говорил себе Татарников. Конечно, невежественные до чертиков и, если разобраться, дурни, но кто их знает, а вдруг поумнеют? Время покажет. Он всегда ждал, что покажет время.

III

Отец Николай приветствовал его в дверях и троекратно облобызал на православный манер. Татарникова проводили в президиум, на сцену. Он оказался в одном ряду с Германом Федоровичем Басмановым, Владиславом Тушинским, Борисом Кузиным, Розой Кранц. Из выступления отца Николая Павлинова стало понятно, что «Открытое общество» суть свободный и независимый от российского государства институт, в который вкладывают деньги миллиардеры всех стран, чтобы поддержать отечественную интеллигенцию при переходе от

тоталитаризма к демократии. Религиозные и светские интересы будут объединены в нем единым дискурсом свободы. Возглавит российское «Открытое общество» опытный руководитель Герман Басманов, а опытные интеллектуалы (отец Николай так и выразился «опытные интеллектуалы», а остряк Кузин прошептал «подопытные интеллектуалы») будут следить за тем, чтобы немеренные капиталы текли, не сворачивая, прямо в библиотеки и музеи далеких городов. «Почему обязательно далеких?» – спросил Татарников у соседа, соседом был Тушинский. – «А поближе музеев нет, что ли?» – «Потому что, – сказал экономист, – надо поднимать глубинку: Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск». – «Вот как? – подивился Татарников. – И как же их поднимать?» – «А вы послушайте, учредители расскажут». В зале Дома ученых присутствовали и миллиардеры-учредители. Этим-то, этим-то чего не хватает, думал Татарников, их-то сюда что несет? Зал заполнился людьми, многих историк уже знал в лицо. «Цвет нации, совесть нации», – шелестели в зале. Но вот прозвонил колокольчик, и наступила тишина.

– Разрешите открыть научную конференцию, – объявил багроволицый Басманов, – дайте сказать мне, старому демагогу, прожженному аппаратчику, – все захохотали, – позвольте мне попросить прощения у несчастной обездоленной Родины, которую столько лет кормили обещаниями и не давали ей ничего конкретного. Первое, что отняли у русского человека, – знания! В деревне, где я рос, было мало коров, но, честное слово, газет было еще меньше! Страну лишили памяти, страну лишили информации – и вот результат! Где же тот Нестор, что писал летопись России? Многие старались, честь им и хвала, – но писали отрывки, обрывки, и книга эта не была никому доступна. А время пришло такое, что тайн больше нет. Нет тайн! – и Басманов показал залу открытые ладони. – Если я сегодня скажу, что мне стыдно за историю моей страны, что новая страница перевернута в летописи нашей Родины, думаю, каждый меня поддержит! – и все хлопали Басманову от души. Да, говорил про себя каждый из них, вот он стоит перед нами, бывший замминистра культуры, держиморда и бюрократ. Да, мы знаем, что он обучен тащить и не пущать. Да, было время, что мы боялись этого багрового лица и рта с золотыми коронками. И что же? Вот он стоит перед нами, нестрашный и потерянный пожилой мужчина. Куда ему податься? Где его прежние хозяева – армия, КГБ, партия? Где его кормушка, где его закрытые распределители и пайки с икрой? Кончилось его время. Теперь он пришел сюда, к нам, в «Открытое общество» – пришел простым администратором: он будет делать то, что мы прикажем, – подписывать бумажки и ставить печати. Он больше ни на что не годен, пусть теперь покрутится. Пусть старый шут для нас попляшет. И они снисходительно хлопали ему, им было весело от своей победы. – Что же нужно России в первую очередь? Опять кормить людей призывами? – спросил Басманов у зала, и зал ответил возгласами протеста. Это вот как раз он самый, этот вот краснорожий, кормил нас призывами, думал каждый из них. Как же его, бедолагу, теперь прижало, что он в единый момент перестроился. Вот она, перестройка, что делает. А можно ли ему верить? Так теперь время такое, что верить ему и не требуется: слава богу, не идеология теперь правит миром – но простой закон рынка. Не понравится нам этот администратор, мы его выгоним пинком под зад. Скажем ему, пошел вон, прохвост, да и найдем другого администратора. – Я убежден, – сказал Басманов, – что мы сумеем дать народу то главное, что обеспечивает свободу, – мы дадим ему информацию и память! Да! Народ должен знать свою историю, обязан знать правду, чтобы строить демократическое будущее. Мы здесь собрались как передовой отряд нового общества – открытого общества. Ведь это – наша цель? – спросил Басманов у зала, и зал подтвердил это предположение. Так уж устроено открытое общество, думал каждый из них: профессионалы занимаются делом, а администраторы заняты распределением продуктов их деятельности – и никакой идеологии. Не надо генеральных линий развития: ни тебе Платона, ни Маркса – уже пробовали, хватит. Они же враги открытого общества, они хотели, чтобы идеологи правили миром, и куда все это привело? Слава богу, прогресс оказался сильнее догмы. А вот он стоит перед нами, краснорожий идеолог, догматик с золотыми коронками, и лебезит перед нами, и куда ему теперь

деваться? Да, мы строим открытое общество, да, мы распахнули двери и окна в большой мир, да, теперь уже не догмы, а понятные рыночные отношения будут править социумом. Вот сидят в зале учредители «Открытого общества», миллионеры и миллиардеры из свободных стран – они-то и взяли на оплачиваемую работу этого несчастного дурака-аппаратчика. Пусть поработает администратором, пусть. Что ж, ему не впервой менять хозяев. И зал снисходительно хлопал Басманову. – Мы позвали сюда профессионалов, – сказал Басманов, – мы пригласили людей, которые поделятся своими знаниями. Философы, – Басманов поклонился в сторону Кузина, – культурологи, – он поклонился в сторону Кранц, – экономисты, – поклон в сторону Тушинского, – историки, – это он про меня, подумал Татарников и сам поклонился залу, – собрались здесь для того, чтобы гарантировать людям: вы узнаете правду, и правда сделает вас свободными! А я, старый аппаратчик, пригожусь на то, чтобы звонить в колокольчик и предоставлять слово докладчикам.

Дали слово докладчикам. Президент компании «Бритиш Петролеум», господин Рейли, которого успела узнать и полюбить столица, сказал речь. Он рассказал о большом и прекрасном мире, о котором мечтал каждый свободомыслящий интеллигент, о мире, который раньше можно было видеть только в кино, а теперь этот мир совсем рядом, распахни окно (а уж дверь тем более), и дыхание этого прекрасного мира ворвется сюда. Рейли говорил о мире, где художник и нефтяник, философ и бизнесмен равны в правах и работают на общее благо. Он говорил о мире, где не принято угнетать и оболванивать враньем, но, напротив, принято говорить правду и поддерживать сирых. Он рассказывал о газетах, журналисты которых печатают информацию вопреки мнению правительства, и даже про него, Ричарда Рейли, публиковали критические статьи, когда ему случилось провести рискованную сделку. Да-да, случалось и такое! Общество-то открытое, и печется оно о своих гражданах – а вдруг кому-то не расскажут правды? И в России (в этом состоит надежда Рейли) будет выстроено общество, где о каждом – о самом убогом и позабытом! – граждане вспомнят. Ведь и на Дальнем Востоке, ведь и в Сибири даже – живут люди. Кое-кто, может быть, и поразится, узнав это, но – живут, да! Самые настоящие люди – во всяком случае, это мнение Рейли. Послушать его, так он всю жизнь хотел помогать сибирским мужикам, и в этом факте, пожалуй, можно было бы усомниться, если не быть хорошо знакомым с Рейли. Для тех же, кто успел узнать Ричарда Рейли, и тени сомнений не оставалось. «Ты бывал у Дики, Сереженька? – зашептал отец Николай Татарникову. – Ну, у Дики, у Ричарда. Как, не бывал? На Воздвиженке особняк с грифонами, что, не знаешь?! Завтра же поезжай! Никаких отговорок! С тонким вкусом человек! Как кальмаров жарит! Тают во рту!» Я проехал Сибирь, сказал Рейли, и влюбился в эту страну: какие характеры! А глаза! Вы видели их глаза? А я, между прочим, заглядывал им в глаза. Достойные, неприхотливые люди. И знаете, что поражает? Эти люди хотят знать правду! О, не жаль отдать прибыль нефтяной компании на то, чтобы послать в дальние города учебники по истории! Сибиряки должны узнать правду. Они узнают ее! Они обязаны стать хозяевами своей судьбы! «Бритиш Петролеум» позаботится об этом: тысячи рабочих мест создаст компания в этих регионах! Басманов поблагодарил англичанина и крепко стиснул руку Ричарду Рейли своей красной ладонью.

Далее взял слово Владислав Тушинский, он назвал собравшихся целинниками и высказался за подъем культурной целины. Раньше ездили за бессмысленной романтикой осушения болот, прокладывания трасс. Пригодились нам эти трассы? Что, поехали мы с вами по этим дорогам? Остались недостроенными эти ненужные дороги, сгубившие здоровье и молодость тысячам (да что тысячам – миллионам!) россиян. Нам же надо осушать болота невежества, прокладывать трассы к новому гражданскому обществу, прочь от лагерей. И тогда, когда открытое общество будет построено, свободные люди сами продадут свои земли тем компаниям, которые в короткие сроки наладят прогрессивное строительство дорог. И уже не унылые узкоколейки, но широкие магистрали будут проложены в тайге – и не столыпинский вагон с ээками, а шестисотый «мерседес» полетит по трассе. И оратор озадачил зал вопросом: а кого бы вы,

присутствующие, хотели увидеть за рулем этого «мерседеса», а? Ведь кто-нибудь да и возглавит это движение, не так ли? Кто-нибудь да и поведет «мерседес истории» по таежным просторам. Так кто же? И растерялся зал, не зная, что ответить. Но нашлись светлые головы, нашлись догадливые, закричали: да вас, Владислав Григорьевич, вас хотим, кого же еще! У вас же программа преобразований! Пятьсот дней – и в «мерседес»! Поскорей бы, Владислав Григорьевич, дни-то идут. Уже, почитай, дней семьдесят прошло, сквозь пальцы будущее уходит, время зря теряем! Доколе? Тушинский подержал зал в таком возбужденном нетерпении, поводил маленькими глазами по рядам и, собрав урожай ответных взглядов, сел на место. И ему стиснул руку Басманов и даже долго тряс.

Борис Кузин высказался на тему опережающего развития российских регионов. При Советской власти все концентрировалось в столице, столица забирала у провинции все – продукты, таланты, деньги. Задумаемся, зачем делалось это? Просто: чтобы собрать всех умственных людей в одном месте – и там идеологически подавить. Для удобства управления и репрессий – вот зачем централизовали Россию. А почему же такая некрасивая ситуация возникла в нашем отечестве? Понятно, не секрет: все дело в проклятом наследстве Золотой Орды, все он, монгол, гадит. Издалека, из глухих закоулков истории, вредит. Насаждали рабство, а большевики это монгольское рабство усугубили. И пригорюнился зал. Действительно, как задуматься над наследством, доставшимся от большевиков и монголов, – жить не хочется. Однако Кузин успокоил зал, подняв руку. Так Черчилль сдерживал волнение соотечественников в роковые минуты военных лет. Ничто не невозможно, сказал Кузин. Правильно, есть от чего расстроиться. Но – терпение! Есть выход. История расставляет ловушки, но цивилизация учит, как их избегать. Варварство грозит нам из глубины веков, но Просвещение его поборет. Задумимся вопросом: что делать нам – для победы над варварством? Доверимся профессионалам, благородным людям, приехавшим к нам с протянутой для помощи рукой, с отверстым кошельком, с разинутым для приветственных речей ртом. Прежде всего – децентрализовать Россию. Раньше все тащили в центр. А мы все раздадим регионам! Берите, регионы, нам не жалко. И новое правительство недаром говорит: берите, говорит, столько свободы, сколько сможете унести. Верно сказано! И мы, интеллигенты, не останемся в стороне! Одарим регионы культурой! Не рабом идеологии, но свободной личностью, возделывающей свой сад, должен стать человек из Сибири. Главное – воспитание личности! И волшебное слово «личность» несло над залом и, казалось, разносилось далеко за его пределами – туда, в мерзлые степи российских рубежей, где гуляет злой ветер и люди пьют политуру. Сделаем их личностями – вот что! Раньше город Замухранск не имел личностей, а мы их там разведем, как осетров в пруду! Раньше в Замужайске от водки дохли, а мы им французский коньяк завезем и «Архипелаг ГУЛАГ» в подарочном издании.

И пожал руку Басманов смелому философу, и даже обнял за плечи. Философ подвел базу, сказал Басманов. Личность – вот цель! За что мы с вами здесь боремся – так это за личность. И художники, и философы, и экономисты – все солидарны: без личности – никуда. Личность, сказал Басманов, это тот кирпич, из которого и строится здание гражданского общества. Чем больше кирпичей мы наберем, тем выше построим здание, тем толще будут его стены, тем дольше будет стоять бастион открытого общества. Басманов сообщил, между прочим, что есть уже план по строительству театров в Замужайске и интернет-кафе в Замухранске. Теперь они, замухранчане, не пропадут, их не заметет метель. Отныне каждый, замерзнув на улице, сможет войти в теплое интернет-кафе и мгновенно прочесть столичную газету, быть в курсе демократических прений. Поучительно будет узнать им мнение профессора Кузина о прорыве в цивилизацию. Пройдет время, и скажут люди в регионах спасибо.

Вставали молодые энтузиасты и говорили об утерянных традициях, о попорченных идеалах. Просто удивительно, сколько в регионах накопилось нерешенных вопросов, изболелась у них душа. И то сказать, застоялись регионы – пора на волю. Пожелание регионы имеют: уве-

ковечить в бронзе генерала Колчака, сибирского мессию. А что? Давно пора! Даст ли «Бритиш Петролеум» денег? Да запросто, хоть на три памятника. Еще и Юденичу поставим, и Врангелю. И кого-нибудь из просветителей увековечим. Кто там был из гуманистов? Ермак? Ну не буквально он, конечно, но подработаем этот вопрос. И еще высказали пожелание: учредить премию имени Энди Ворхола и вручить ее некоему безвестному Снустикову. За что же премию, что делает он такое знаменательное, Снустиков этот? А он нетривиально подходит к искусству, незашоренно. Переодевается в женское платье и изображает актрису Грету Гарбо. Неужели Гарбо? Да вот, как раз ее. А зачем же делает он это, для чего? Самовыражается, бунтует против культурных табу. Может, он, как бы помягче сказать, ну словом, это самое, понимаете? Ах, что вы, это просто у него эстетическое высказывание такое, мессидж, одним словом. И что же? Тут же премию учредили и вручили. И гомельского мастера не забыли, есть и у него неординарный проект. Корифеи художественного процесса: Стремовский, Дутов, Пинкисевич – сидели в зале и снисходительно хлопали. Гляди-ка, растет молодежь. Пусть их балуются. Носатый Яков Шайзенштейн – и он был здесь, блистал знаниями, – провел сравнение между Карлом Поппером и Карлом Марксом, и далеко не в пользу последнего. Маркс-то, если вдуматься, был сторонником закрытого общества, а Поппер – как раз наоборот. И вывод напрашивается сам собой – ведь человеку лучше где? А? То-то. Яков перешел к модному историку Хантингтону, сказал, что пришла пора обернуться к сибирским цивилизациям. К сибирским цивилизациям? – спросили из зала. Да, именно вот к ним как раз. А есть ли они в природе? Навалом, не счесть. И Дима Кротов получил слово, стал пересказывать теорию Арнольда Тойнби, а слушатели диву давались: ведь юный совсем человек, как успел, где знаний-то столько набрал? Недаром говорили, что большевики душат таланты – вы поглядите только: какие кадры растут! И говорит гладко, не собьется! Вот таких бы, молодых да задорных – во власть! Вот бы такого Кротова – в правительство! А что тут невероятного? Время такое – всякое возможно. И зал хлопал Кротову, а тот стоял, смущенный, румянец во всю щеку. Отец Николай нацарапал и послал Татарникову записку: «Срочно исторический экскурс: про Урал, Ермака, Колчака. Возможно ли отложение сибирской цивилизации? Дики дает хорошие деньги на научную монографию. Как тебе название: “Сибирская Атлантида”?» И отец Николай тоже взял слово. Пора засучив рукава – он засучил рукава мягкой лиловой рясы, открыв полные запястья, – браться за подвижнический труд! Мы должны проехать с докладами по Сибири, мобилизовать сознание далеких городов, пробудить к жизни деревни. Мы восстановим правовое сознание, мы дадим людям информацию. Деньги? Помилуйте! Да на это не жалко истратить миллионы! Поймите, мы по капле выдавливаем из русского крестьянина раба, мы создаем – избирателя! И когда завтра эти люди – уже далеко не рабы, о нет! – когда они пойдут к избирательным урнам, можно будет не волноваться: они не станут доверять будущее кому попало! Они сумеют сделать верный выбор!

Сосед тронул профессора Татарникова за плечо. Мучнистое лицо Тушинского склонилось к Сергею Ильичу: я случайно в вашу записку заглянул. Так, значит, есть сибирская цивилизация? Предлагаю зайти ко мне в центр глобальных исследований, подработаем вопрос. Референтом ко мне – пойдете?

IV

Сергей Татарников извинился и вышел в буфет. Как и всегда, в конце дня, когда было выслушано много, а прочитано мало, он чувствовал пустоту и потребность выпить. Через несколько минут к нему присоединилась Роза Кранц, она тоже была не в духе.

Пожилой историк и культуролог попросили кофе. Зная друг друга по именам, они прежде ни разу не говорили друг с другом.

– Татарников, – поклонился Сергей Ильич и безо всякого перехода сказал: – Научная конференция! Понимать отказываюсь. Это, извините меня, Роза, халтура. Это, не сердитесь, бога ради, балаган!

Выглядит он плохо, и это неудивительно, подумала Кранц, лет ему немало, а он, судя по всему, пьет. И плохо закусывает. Роза Кранц смотрела на него с жалостью и скукой. Зрелище, правда, жалкое. Пожилой человек с красным носом кричит о науке. Каково быть женой такого? Пожалуй, несладко. Она ответила что-то ироническое. Сергей Ильич опять произнес пылкую тираду, и Роза снова остудила его.

Диалог получался забавный. Татарников, человек церемонный, вставлял всюду слова «не сердитесь», но не для того, чтобы извиниться, напротив, он так говорил, чтобы разрешить себе в дальнейшем резкость. Роза же Кранц постоянно употребляла слово «простите» и весьма иронически его интонировала: прощения ей от Татарникова никакого было не надо. Это был интеллигентный диалог интеллигентных людей – но разных поколений.

– Давайте логически рассуждать.

– Давайте, – согласилась Кранц.

Татарников взял чашку с кофе в большую ладонь и опустошил чашку двумя большими хлебками; так кофе не пьют, подумала Кранц. Вернее, так пьют люди, привыкшие пить спиртное. Она отпивала кофе по глоточку.

– Мне стыдно за ваше поколение! Вы, не сердитесь, пожалуйста, дрессированные бунтари! Игрушечные! Надувные!

– Мне же, простите, Сергей Ильич, всегда было неловко за ваше поколение.

– Начальству, не сердитесь, задницу лижете!

– Сергей Ильич, вы хотели рассуждать логически.

– Что это за дегенерат сейчас выступает? – поинтересовался Татарников. – Прошу прощения, что за цвет нации такой? «В мире существует двадцать одна цивилизация» – я не ослышался? Почему же, я извиняюсь, двадцать одна, а не тридцать восемь? Вы их как насчитали? Потому что у Тойнби прочли, да? Но Тойнби, извините меня, не Господь! Если вы с ним во всем согласны, так не пишите своих трудов, а его перепечатывайте. А коли вы наукой занимаетесь, не принимайте ничего как догму, а тем более предположение коллеги. Его слова – это ведь не закон природы, не открытие географическое, это просто интеллектуальное построение. Можно сказать так, а можно иначе. Нельзя оттого только, что ученый жил на Западе, где платят больше и коммунистов меньше, считать, что он во всем прав. Ну да, нынче моден, завтра не будет, но мы ведь наукой занимаемся! Нам безразлично, где он живет и сколько получает!

– Простите, Сергей Ильич, разве обязательно в таком тоне? Поверьте, деньги решают не все. Важно современное видение проблемы.

– Именно! Вы выбираете себе убеждение не за то, что оно самое благородное или справедливое, а за то, что оно самой последней модели. У меня впечатление, что вы головой по сторонам крутите, как бы не пропустить чего-то поновее. И так подгадать, чтобы принять убеждение, а оно самое передовое! И не надо его менять через десять лет!

– Отчего же, Сергей Ильич. За десять лет наука далеко шагнет – придется, простите, и взгляды поменять.

– Поменяем! Не привыкать! Мучился Иван-дурак с отсталыми взглядами, а потом пошел в хороший магазин, выбрал передовые убеждения – и стал жить-поживать! Убеждение, оно должно быть как «мерседес», а с убеждением-«Волгой» далеко не уедешь. На запчастях разоришься, да и засмеют.

– Согласитесь, Сергей Ильич, – улыбнулась Кранц, – «мерседес» действительно лучше «Волги».

– Лучше машина, но водитель-то не умней! Не путайте науку с идеологией. Так хорошо только один раз бывает: с коммунизмом нам просто повезло. Наука, она, извините меня, Розочка, к идеологии не относится. Это чепуха, вы на меня не сердитесь, это чушь собачья.

– Простите, Сергей Ильич, но наука передовой, безусловно, бывает. Вот, например, Галилей.

– При чем тут Галилей? Вы что же, извиняюсь, восстали против общепринятых убеждений? Как бы не так! Напротив, только и ищете, за кем повторить.

– Обратите внимание, Сергей Ильич, вы меня вот уж четверть часа оскорбляете, и безо всякой причины. Это ведь не я говорила про двадцать одну цивилизацию.

– Ваша правда, Розочка. Ваша концепция, если не ошибаюсь, состоит в том, что цивилизация вообще существует одна-единственная. Одна на всех. Как докторская колбаса при Брежнев. Не так ли?

– Не все так просто.

– А как же? Вы уж растолкуйте. А то мне кажется, для вас слово «цивилизация» обозначает только одно – теплое место. Теплое, мягкое место! – сам себя рассмешив, Сергей Ильич хихикнул.

– Для вас понятие «прогресс» что-нибудь значит?

– Есть два похожих лозунга, Розочка: «учение всесильно, потому что оно верно» и «учение верно, потому что оно прогрессивно»! Вы одну идеологию подменили на другую – при чем тут наука! Вот вы говорите: «одна цивилизация», а ваш коллега: «двадцать одна цивилизация», – но научной дискуссии нет! И то и другое выдается за прогрессивный взгляд. Просто вы в одном магазине взгляды купили, а он – в другом.

– Однако полемизируем, Сергей Ильич.

– О чем же, Боже святой, о чем полемика? Одна цивилизация, двадцать одна, хоть сто двадцать одна – чепуха это, а не полемика.

– Дискурс нашей беседы, Сергей Ильич, простите меня, вокзальный.

– Дискурс! Дискурс! Что вы хотите сказать этим, прошу меня извинить, идиотским словом «дискурс»? Все талдычат «дискурс», «парадигма», как попугаи, слушать тошно.

– Сергей Ильич, я прошу вас не надо голословно и с таким раздражением... У термина своя история, определенная коннотация, чем вы его замените?

– Бога ради не обижайтесь, удивительно глупая у вас терминология. Для даунов, не сердитесь, пожалуйста.

Хорошо было уже то, что Татарников не договорился пока что до своих излюбленных «пулеметов», была у Сергея Ильича такая привычка: в пылу спора он вспоминал о пулеметах. Человек, в сущности, глубоко гражданский, не совершивший в жизни ничего брутальнее ловли рыбы в дачной местности, Сергей Ильич имел обыкновение в безнадежном споре с оппонентом шурить глаза и выкрикивать: «Дождались! Надо было вовремя пулеметы выкатить! Пропорили, проговорили! Поставить пулеметы на высоких зданиях, чтобы вся улица простреливалась, – и все! В упор по демонстрации! Разрывными! И никаких беспорядков!» Что хотел сказать этим Татарников, никто не понимал; политический, как говорится, мессидж его был невнятен: чья демонстрация и чьи пулеметы, за левых он, собственно говоря, или за правых? За красных или за белых, наконец? Вероятнее всего, этого не смог бы сказать и сам Татарников; его призыв воспользоваться пулеметами носил, если можно так выразиться, онтологический характер: рассматривались некие обобщенные пулеметы, направленные против демонстрации как таковой. И в спорах о Чеченской войне, сводя счеты с Тофиком, ссылаясь профессор на пулеметы; однако ошибкой было бы предполагать, что он знал, как пулеметами пользоваться. Роза Кранц, кладя конец бессмысленному спору, произнесла:

– Мне кажется, простите, что вы сидите на льдине и куда-то уплываете. Или вашу льдину течением уносит, что вероятнее. Возвращайтесь на берег, Сергей Ильич. Приходите к нам на

семинары. Можете не выступать, просто послушайте. Сейчас молодежь очень информированная, – про молодежь Кранц сказала нарочно. Упомянуть новое поколение – это уж вовсе задвинуть старика за шкаф. Кранц, впрочем, проделала это без жалости: Сергей Ильич, человек ехидный, сам бы тоже никого не пожалел. Рассказывали, что когда он еще принимал экзамены, то задерживал студентов до полуночи в пустом институте и потом все равно ставил им двойки. Однажды, уйдя все-таки за полночь из института, Сергей Ильич поехал со студентами на Белорусский вокзал и продолжал принимать экзамены в зале ожидания – среди бомжей и падших женщин. И никто из тех, кто поехал с ним в ночное и мог хотя бы за доблесть рассчитывать на сносную отметку, – никто из державших вокзальный экзамен этого экзамена не сдал. «Вы не сердитесь, пожалуйста, лучше из нашего института документы забирайте. В политику идите, вливайтесь в демократическое движение или вот в фарцовщики подавайтесь, тоже перспективная профессия, у вас знаний как раз на хорошего депутата или фарцовщика», – говорил Татарников в таких случаях. И для верности, чтобы получилось обиднее, Кранц повторила: – Сейчас ребята, которым по двадцать, осведомленнее нас с вами. Приходите поучитесь.

– Да я лучше, Розочка, закроюсь на даче и буду водку пить.

Ты ведь, старый дурак, так и делаешь, сказала Кранц про себя. Вслух она сказала: «Зачем же так? Лучше поучаствуйте в спорах. У нас неординарные личности бывают. Месяц назад Жак Деррида приезжал».

– Это кто ж такой? Ах, этот мерзавец, как его, деконструктивист?

– Именно он, Сергей Ильич, мерзавец, как вы метко его определили.

Татарников глядел на Розу Кранц так, как, вероятно, Дарий глядел бы на Македонского, будь он еще жив, когда Александр подошел к его телу. Два научных сотрудника сидели в буфете, пластиковый стол на алюминиевых ножках да пустые чашки на столе меж ними, но разделяла их бездна. Розу Кранц уже позвали читать лекции в Вашингтон, она проживет там полгода, будет читать курс о постсоветском искусстве; Деррида предложил публичный диалог на тему «Глоток свободы» для левой газеты «Ле Монд Дипломатик», журнал «Дверь в Европу» заманивал колумнистом, и очень может быть, что Фонд актуальной мысли даст ей первую премию, – вот как обстоят дела, а Татарникова давно не зовут никуда. Кому нужен? Сюда, в Дом ученых, тоже бы не позвали, это Кранц ясно понимала, просто отец Павлинов – приятель Сергея Ильича.

Одет Татарников чисто, тут ничего не скажешь, думала Кранц, но вещи ему давно малы, пиджак сидит горбом, рубашка на верхнюю пуговицу не застегивается. Руки у Татарникова большие и красные, он вертит в них пустую кофейную чашку. Жажда – вот это что такое, обыкновенный похмельный синдром.

Сергей Ильич оглянулся на буфетную стойку, достал некрасивые очки, сквозь очки осмотрел меню, невпопад спросил:

– Вы, Розочка, как, со мной водочки не выпьете?

– Сергей Ильич, какая же водка на конференции и в такую рань.

– Что вы, Розочка, рано никогда быть не может, можно только опоздать. Это как с наукой – слишком рано открытия не случаются, все в свое время. – Глаза у Татарникова серые, постариковски прозрачные. Минуту назад в них было раздражение, злость даже, теперь взгляд сделался мягкий. И неожиданно, глядя в эти стариковские глаза, Кранц сообразила, что Татарников вовсе и не стар: ему лет шестьдесят, не больше.

– Сто грамм? – говорит буфетчица.

– Зачем же сто, для чего нам эти полумеры? И без того в России все делают наполовину.

V

Буфетчица налила стакан водки, и Сергей Ильич принял его привычным ухватистым движением, не лишенным изящества. Профессор плавно поднес стакан ко рту, посмотрел на Кранц, отчего-то ей подмигнул и перелил водку в себя. Он не поморщился, не крикнул, как алкаш из подворотни, а застенчиво улыбнулся. Вы уж не сердитесь, сказала эта улыбка, люблю я водки выпить, радостей у меня в жизни мало, а эта вот есть. В ином случае Кранц и сама от рюмки бы не отказалась, не ханжа, но сейчас, глядя на историка Татарникова, такого жалкого со стаканом в руке и с глупейшей улыбкой на помятом лице, ей и думать о спиртном было противно. Русское свинство, думала она, вот оно. Сколько говорено, сколько писано, а так ничего и не понято. Полагают, что это про алкаша в луже, так нет же. Не в уличных ярыжках, не в вокзальных побирушках проявляется свинство – оно прежде всего в так называемой интеллигенции. Как может носитель культуры опуститься? Отчего этот старик такой? Оттого ли, что нового не искал, принимал вещи такими, какие они есть? Привык всю жизнь на институтской зарплате сидеть, согрел под собой место, ему не дуется, не жмет. Встречался с такими же, как и сам, полусонными профессорами, писал в год по статье. Времена изменились, – а к жизни он и не готов, опустил руки. На что он годен, если правду сказать?

Сидевший напротив Розы пожилой мужчина с красным носом, с прозрачными и застенчивыми глазами, подняв пустой стакан, показал буфетчице.

– Хватит, Сергей Ильич, двести граммов вы уже выпили, даже больше, она ведь вам до краев налила. Это ведь целая четвертинка водки.

– Не четвертиночный я человек, Розочка.

– А какой же тогда, пол-литровый?

– Да уж скорее пол-литровый. Не четвертиночный.

Появился еще стакан, и Сергей Ильич перелил его в себя – и опять с достоинством и степенно. Его слегка качнуло в сторону, он сделал усилие и выпрямился. Сергей Ильич напминал сейчас нежилой краснокирпичный барак с выбитыми окнами. Такой дом торчит в ландшафте ни на что не годный, агрессивный, память о каких-то теперь уже неинтересных временах. Его непременно снесут, надо дать место другим, его место займут гордые красавцы из стекла и бетона. В последнем приступе гордыни стоит он сегодня, неуживчивый и никому не нужный, топорща красные острые углы, пляясь черными дырами оконных проемов. Сергей Ильич шурился, примериваясь продолжить беседу.

– Так что Деррида? – спросил он с вызовом. – Оригинальный философ или так себе – компилятор? Мыслитель или обыкновенный прохвост?

– Да как вы можете! Это же Деррида! Его весь мир признал!

– Мало ли. Билла Клинтона тоже весь мир признал, а он болван. Если философ оригинальный, то извольте предъявить внятные простые положения. Тогда это несложно. Скажем, потребуются объяснить Платона. Это, не сердитесь, просто, потому что определено. Пещера, ейдос, идея. Можете так же вот внятно про Дерриду или нет?

– Сделайте одолжение. Дискурс, деструкция, парадигма.

– Что-что? Нет уж, мне, извольте, понятно, не на птичьем языке. Пещера, ейдос, идея!

– Дискурс, деструкция, парадигма!

– Что это за галиматья? Деструкция! Ломать не строить – мозгов не нужно. Поймите, Розочка, у Платона ведь все мироздание объяснено. И никакой болтовни – никакого тебе дискурса, никакой, извиняюсь, парадигмы.

– Парадигму-то как раз Платон и придумал.

– Не перебивайте! Мало ли что он придумал! – Сергей Ильич, теряя нить беседы, стукнул кулаком по столу. – Повторяете за всеми подряд. Вы, не сердитесь, ведете себя, как проститутка!

– Сумасшедший! Алкоголик!

Близорукие, несколько навываля глаза Кранц выпучились еще более, она в упор уставилась на Татарникова. Неожиданно для самого себя Сергей Ильич вспомнил прозвище Кранц – «толстожопая пучеглазка». Ему сделалось и смешно, и неловко.

Возникла пауза.

– Простите дурака, – сказал наконец Татарников, – день скверный. – Он помедлил, но все-таки честно сказал: – Пью с утра. С женой поругался. Ее тоже понять можно, Розочка, вы ее не вините, – отчего-то сказал Сергей Ильич, хотя Кранц всецело была на стороне его жены, – со мной тоже непросто. Понимаете, – продолжил он, – чем открытое общество пугает, так это тем, что цели его уж слишком открыты. До того открыты, что их уж и целями не назовешь. Что-то здесь не так. Не может быть, чтобы у общества не было внутренней цели, тайной. Ну поверьте мне, историку, – не может собраться общество без всякой цели. Ну не может. Зачем же тогда ему собираться?

– Так вы не верите, профессор, в альтруизм? В просвещение не верите?

– У просвещения как раз цели понятны, – сказал пьяный Татарников, – абсолютизм и колонизация. А здесь-то что?

– Борьба с тоталитаризмом. Устранение коммунистической диктатуры. Цель – лишенный идеологии социум. Банкир помогает интеллектуалу, интеллектуал – фермеру, фермер – строителю, и все это без идеологии. Жизнь организуется по законам рынка, то есть взаимного уважения и выгоды.

– Вот, стало быть, где цель. Цель – запутать следствие. Без идеологии – это значит, что виноватых не сыскать.

– Зачем непременно виноватые?

– Я предвижу трудности для будущего историка. Историк – он как следователь, понимаете? Должен все заметить. А как тут одного от другого отличить? Что колбасник, что нефтяник, что генерал – и все как на подбор открыты. Так открыты, что и не разглядеть ничего. Если, не дай бог, случится что – так и спросить не с кого, все похоже, как калоши, крайнего нет. Вот в платоновском государстве – там все четко; стрясется что – сразу виноватого найдут. Ясен, так сказать, круг подозреваемых. Как у нас дома. – Татарников опять вернулся к больной теме. – Зою Тарасовну почему легко понять? А потому, что, кроме меня, виноватого у нас в семье и быть не может.

– Что же может произойти, Сергей Ильич? – спросила Роза Кранц, которая примерно представляла себе, что должно произойти.

– А что угодно, – пьяный Татарников дал волю фантазии, – вот вы, например, на своего оппонента донос напишете. А что? Очень просто. Или Кротов с Тушинским из-за сибирской нефти передерутся, один другого и отравит. Такие случаи в истории бывали. Как без них? Но, скорее всего, их всех обставит Басманов. Вы поглядите на него, Розочка! Как пойдет нефтяные вышки приватизировать – не остановите! Столько наворует! А следствие, как пить дать, станет в тупик. Заставьте меня припоминать, кто что говорил, кто как себя вел, – запутаюсь. Все – за свободу.

– Может быть, все обойдется. Вы не нервничайте.

– Может, и обойдется. Хоть я и сомневаюсь. Если дойдет до дележки скважин, тут каждый союзник лишний. – Историка развезло. – Так открытые общества обычно и закрываются, Розочка. Я вот вам сейчас все нарисую, – и Сергей Ильич вывалил на пластмассовый столик кофейную гущу и ложечкой стал по ней рисовать, – вот это будет у нас такая картина мира. Вот Европа. Какая закономерность получается любопытная, глядите. – Он развез гущу по столу. –

Вот Западная Германия, а вот Западный Берлин, – он нарисовал, – это было стеной закрытое общество. Ведь верно? Падает стена, общество открылось. Открытое теперь. Так. Идем дальше. Вот оно вливается в другое открытое, а то – в третье.

То ли от природной неспособности историка к рисованию, то ли от количества выпитого, но рисунок у Татарникова не получился. В короткое время он перемазал весь стол, изображая Францию, вышел за ее пределы и уронил на пол ложку.

– Знаете что, – кряхтел Татарников, нагибаясь за ложкой и буря от усилия, – я для таких дебатов не гожусь. Прогрессивные идеи – удел молодых. Молодежь приходит, ей подавай прогресс, двадцать лет пролетит, и новая молодежь приходит, и той опять подавай прогресс. А потом опять молодежь, и сызнова – прогресс. А потом опять молодежь. И снова давай новый прогресс.

Интересно, остановится он или нет? – подумала Кранц. Ишь, как разошелся. Не знает, ничего не знает бедный пенсионер. Не понимаешь ты, старый дурень, зачем тебя отец Николай позвал. А он просто присматривается, кто ему доклады писать будет, когда его председателем «Открытого общества» выберут, кто ему справки готовить станет. Все посчитал историк, да все неверно посчитал. Не задержится Басманов в «Открытом обществе», мало ему это общество, тесно. Что ему нефтяная скважина в Сибири? Эх ты, книжный червь. Уже шелестели сегодня по коридорам, что года не пройдет, как сделают Басманова парламентским спикером. Поэтому и сбежались сегодня все на собрание. Чувствуют – выше намечена цель, сегодняшнее собрание – так, пристрелка, надо бы примелькаться, притереться: глядишь, и в настоящее дело возьмут. Вот куда все тянется, в новую Думу. Вот что решается сегодня: портфели председателей комитетов. А «Открытое общество» – это Герману Федоровичу трамплин. Что ему «Открытое общество»? Ведь обронил же сегодня президент «Бритиш Петролеум»: уверенность в наших культурных начинаниях дает тот простой факт, что такая весомая политическая фигура, как Герман Басманов, курирует процесс. Вот оно как. Ему, Басманову, это только для предвыборной работы, а там – вверх. Вверх! Уже и поговаривают, кто это «Открытое общество» потом возглавит, – и неудивительно, что называют отца Николая Павлинова. Гранты распределять – на это поп как раз сгодится. Вот как все обстоит на самом деле, а этот алкоголик все рисует и рисует. Остановиться не может. Историк, а простой истории не видит. Но Татарников уже остановился, растерянно оглядел измазанный стол, развел красными руками.

– Оглянешься, где старые-то прогрессисты? А все давно на пенсии. Скажете, этим мир и живет, оттого и вперед движется? А я вам скажу, что каждому воздастся по вере его – кто в прогресс верил, того другие прогрессисты на пенсию и отправляют. Я-то всю жизнь на печи с водочкой просидел, меня дальше печки и не пошлют. Вам сколько, года сорок три? Ну еще лет восемь-десять, а там и пенсия, внуки, какой прогресс? Прогресс, знаете, где хорош? На Лазурном берегу, в Биаррице... Многие вот Лос-Анджелес хвалят... Нью-Йорк, конечно, прогрессивное место. У вас где квартира? В Мневниках? В Мневниках прогресса нет. То есть снабжение-то теперь неплохое: и кефир, и ряженка. Но прогресса нет. Так что, Розочка, наблюдается известное разделение обязанностей: одни прогрессу служат, другие им пользуются. Вам, вижу, по сердцу служить. А я, старик, на печи полежу. Лучше, не сердитесь, за рубль лежать, чем за два бежать.

Почему это за два?! – хотела крикнуть Кранц, но отчего-то ей не кричалось. Ведь ясно же, что не за два рубля вовсе, но за сумму куда как более убедительную, за связи, за резонанс имени в кругах ей небезразличных, за многое такое, о чем и не вспомнишь так сразу. Пусть они делят портфели, пусть. Но если интеллигент отнесется к ситуации разумно, подойдет по-деловому, и ему достанется немало. Надо уметь использовать момент и вырваться на мировой уровень. Это сегодня она здесь, а завтра – в Сорбонне. Пусть у Басманова будет целью – парламент, у отца Николая – «Открытое общество», но у нее цель – участие в мировой культуре, не самая плохая цель. Вот и в прошлом году Жак Деррида ей сказал, лично сказал: как приедете в Париж

– прямо ко мне. Но ведь не прокричишь всего этого пьяному, хамоватому Татарникову. Не услышит, не поймет, еще и гадость скажет. Скажет, например, такое: думаете, Деррида вам пенсию платить станет? Думаете, узнает вас при встрече? И что ему, алкашу, ответить? На место поставить как?

И чем дольше культуролог думала о Жаке Деррида и о своей пенсии, тем горше ей делалось. Платон-то, ладно, шут с ним, он давно помер, а Деррида живехонек, с него и спрос другой. Деррида, он ведь стакан воды в старости не подаст, свечи от геморроя не купит. А истина, прогресс? Да что есть истина? – понятно ведь, что Деррида не Иисус, на крест за убеждения не пойдет, да и нет у него таких убеждений, чтобы его на крест потащили, сидит сейчас где-нибудь у воды, устрицы бретонские кушает, запивает холоденьким винцом. Что истина? Если она где-то и есть, эта истина, думала российская просветительница с отчаянием и тоской, то скорее в нас, в российской интеллигенции, принявшей западные ценности на веру и служащей им истово, религиозно. Живем в нищете и забвении, но страстно служим, беззаветно преданы единственной идее – западноевропейской цивилизации! О, в этом магическом понятии заключены для нас и честь, и совесть, и свобода, и человеческие права! Служить цивилизации и прогрессу, а понадобится – умереть за них. Россия – это экзистенциальный форпост западной цивилизации! Пусть он предаст меня, неверный Деррида, пусть бросит, пусть не узнает и пройдет мимо по парижской улице, пусть скроется за дверьми богатого ресторана, пусть ест устрицы и не оглядывается, пусть! Но во мне – во мне, не в нем! – останется правда борьбы за идеалы прогресса. Даже если все забудут? Все отвернутся?

И припомнилась молодая пролаза Люся Свистоплясова, вульгарная красавица с неприлично длинными ногами, выскочка и интриганка. Необразованная, совсем необразованная порочная девица. Налетев на Розу Кранц в коридоре института, Люся Свистоплясова сказала ей: «Вы такая мрачная, Розочка. У вас месячные? Или наоборот – месячные уже кончились навсегда? Розочка, не увядайте!» Не может же быть так, чтобы и в Люсе Свистоплясовой была правда экзистенциального прогресса. И в это мгновение Кранц ясно поняла, что именно Свистоплясовой отдадут первую премию Фонда актуальной мысли. Ох, недаром, недаром сказал давеча Яша Шайзенштейн: «Свистоплясова какова! Растет девочка!» Роза тогда в ответ только и смогла что вытратить глаза от удивления. А Яша, насмешник, для которого ничего святого нет, сказал: «Ну не пучься, не пучься, глаз лопнет». И тогда Роза сразу вспомнила свое обидное прозвище. Толстожопая пучеглазка! Это Свистоплясова, конечно же, придумала. Она, кто же еще! Она, мерзавка!

– Подлецы! – вдруг вырвалось у нее. – Интриганы! – закричала Роза Кранц неожиданно для себя самой. – Интриганы!

И пьяный профессор Татарников потребовал себе новый стакан и обнял ее за полные плечи. И внезапно Кранц принялась рассказывать ему все подряд: и об отце Николае Павлинове, экуменисте и карьеристе, который, похоже, спит со Свистоплясовой, – поп называется! – оттого и посылает ее в Ватикан с докладами, и о директоре Института «актуальной мысли» Яше Шайзенштейне, который явно хочет со Свистоплясовой спать и готов ради этого поступиться принципами, и о Голде Стерн, лучшей своей подруге, которая как соавтор никуда не годится, но требует меж тем половину гонорара. Чуть было не сказала она и о модном мыслителе Борисе Кузине, который провел с Розой ночь, а наутро стал звонить жене и трусливо врать, будто засиделся в гостях у художника Струева, да там и остался, и спрашивать благоверную, что купить ей к завтраку, йогурт или же диетический творожок. Диетический творожок! О, проклятая мужская порода, о, жалкий московский обыватель, униженный кухней, зарплатой и женой! Сергей Ильич, вы представляете! – только и сказала Роза Кранц.

– Сволочи! – подвел итог Сергей Татарников и вполголоса спросил: – Вы, Розочка, как насчет водочки? Граммов сто.

– Лицемеры! – застонала культуролог, и историк плавно подвинул к ее локтю стакан.

– Ну про Николая я все знаю. Это, Розочка, подлое социалистическое детство виновато. Рос в нищете и голоде, а теперь никак накушаться не может. Питается довольно часто, можно сказать, без перерыва жрет, а сытости нет. К прогрессу тянется святой отец, к дарам цивилизации. Вот она – цивилизация! Хотели – так берите теперь, щупайте!

– Предатели! – и Роза залпом выпила стакан, в то время как историк кричал в опустевшем буфете:

– Доигрались! Раньше думать надо было! Пулеметы выставить на окнах – и круговую оборону! Очередями, очередями, головы чтоб не подняли, проститутки! – в голосе Татарникова тоже слышалась неподдельная страсть и непритворное горе. Он представил себе жену Зою Тарасовну и то, как жена раздраженно стучит посудой, как она говорит: много развелось мыслителей, а картошку принести некому, не правда ли, герр профессор? И, представив Зою Тарасовну и Сонечку, представив снисходительную улыбку дочки и ее слова «Сережа, ты опять выпил», закричал: – Очередями! В упор! – и пьяный историк ударил кулаком по столу.

Так кричал Сергей Татарников, а Роза Кранц смотрела ему в беззубый рот, выпучив глаза.

Заседание тем временем закончилось, двери зала раскрылись, выпуская изможденных дебатами интеллектуалов. Вышел из дверей и Герман Басманов, повел цепким взглядом по сторонам. Увидел Татарникова с Розой Кранц, улыбнулся, сверкнул коронками. Хорошо им, лентяям. Белый день, а уже нагрузились. А дел-то невпроворот.

Действительно, много было работы.

6

Прежде чем прикоснуться к поверхности холста, художник должен понять, зачем он собирается это делать. Еще не поздно отложить палитру и не портить хорошую вещь. Перед ним чистый холст – и вот сейчас поперек него ляжет линия, и он более никогда не будет чистым. Он превратится в то же, во что до него превратились миллионы холстов, – в необязательное переплетение мазков, в случайные сочетания цветов, в невнятное бормотание композиции.

Хороших картин человечество создало достаточно, но не очень много, вероятно, не больше чем десять тысяч. Редко сыщешь музей, в котором больше десяти великих картин; в огромных музеях их может быть сто – но музеев таких очень мало. Эти десять тысяч великих картин отличает прежде всего ясность мысли: мастер знает, что говорит, знает зачем, и говорит он твердо и точно. Еще существует тысяч сто картин неплохих, создающих уютное соседство великим; так, например, не все картины Рейсдаля гениальны, таковых он, вероятно, написал не больше десяти, но все они прекрасны. Не все картины Гойи или Веласкеса равны гению Гойи и Веласкеса, но все они осмысленны и благородны – в них нет пустот и вялости. К этому же числу относятся картины мастеров, которым судьба обрамлять шедевры, – картины Якоба Рейсдаля не проиграют в своей внятности от соседства его родни – Исаака и Соломона, от пейзажей Ван дер Неера и Асселайна. Все прочие картины – созданные и ежечасно создающиеся – свидетельство вялого, нерешительного, дряблого сознания. Художник не вполне отдает себе отчет, зачем его рука тянется мазать краской по холсту, действительно ли он хочет выразить какую-то мысль, оформленное чувство. И даже если его и впрямь посетила мысль, то он не трудится взвесить ее: является ли эта мысль достойной того, чтобы быть запечатленной, вполне ли она оригинальна. Сколько этих недоговоренных фраз, невоплощенных амбиций, невнятных деклараций – собственно, именно они и составляют тело культуры. Они впоследствии получают название стиля, течения, они характеризуют эпоху, по ним можно судить о времени – ведь у всякого времени свои амбиции и претензии, всякое время невнятно по-своему; всякое время по-своему невеликое; внятно лишь вечное.

Но те великие, те совершенные картины, которых немного, которые выходят из-под кисти избранных, они образуют свой собственный круг, свое собственное время и собствен-

ное неподвластное никому пространство. Они вняты высшей пророческой внятностью, они говорят тем глаголом, который слышен всегда.

Пока художник стоит перед белым холстом, еще неизвестно – войдет ли он в этот круг избранных или его поделка растворится в огромном вялом теле культуры, как миллионы прочих бессмысленных поступков и жестов. Сейчас холст еще в том состоянии, что из него может произойти что угодно – например, появится великая картина, толкующая человеческие страсти, объясняющая, как жить, дарующая надежду. Это все сейчас спрятано в холсте – если долго смотреть на него, можно разглядеть за нетронутой поверхностью движущиеся линии, переливающиеся цвета. Мало что совершеннее, чем чистый нетронутый холст. Холст – в этом состоянии – не принадлежит никому, он, в сущности, воплощает собой искусство. Не культуру, не среду обитания, не время – а именно то искусство, что сродни вечности. Этот холст помнит взмах руки Рембрандта и неторопливое постукивание кистью Сезанна, в нем хранится деликатная лессировка Шардена и варварский мазок Ван Гога. Точно такая же поверхность была перед глазами Леонардо и Вермеера. И бургундские, и голландские мастера так же смотрели на белый прямоугольник, и рука их наливалась тяжестью перед первым мазком.

Сейчас двинется рука, кисть коснется холста, краска оставит след – и как нелеп будет этот след, до чего он будет необязателен. Допустим, на холст ляжет красная краска – и сразу станет непонятно: почему красная? Хотел художник рассказать про страсть и кровь, про муки Спасителя и знамя восстания или ему просто хотелось сделать как поярче. И если художник не знает, зачем он пишет, то все, что он ни сделает с холстом, – будет недостойно холста.

Глава 6 Палата № 7

I

Энергии Ленина, то есть той наступательной силы, которой он наделил российский пустырь и его обитателей, хватило на пять поколений правителей. В самом деле, этот тщедушный лысый человечек передал преемникам в наследство такую неутолимую страсть и столь выстраданную логику управления, что при всех своих зверствах, тупости, лени и долдонстве они – то есть соответственно Сталин, Хрущев, Брежнев, Андропов – излучали словно бы отраженный свет ленинской страсти и воли. Стоило бессмысленному сибариту Брежневу выползти на трибуну и произнести не вполне для него внятный набор слов: интернационал, коммунизм, справедливость, братская помощь, как эти слова – помимо воли говорящего – наполнялись смыслом. Жалкий и тупой, увешанный орденами полупарализованный старик шамкал с трибуны слова, от которых некогда содрогались толпы, которые швыряли голодных солдат в прорыв Перекопа, которые заставляли конницу стелиться в галопе; старик бессмысленно воспроизводил звуки привычных слов, и эти слова, отделяясь от деревенеющих губ, наливались былой силой и грозно отдавались в зале. И казалось, что в умирающей, едва тлеющей Советской России еще спрятана грозная воля. Словно бы некогда отданная в мир энергия и страсть еще продолжали некоторое время жить сами по себе – и вспыхивали, едва их вызывали к жизни. Так, если верить преданиям Востока, являлись джинны тому, кто потрет старую лампу, так являлись духи, если произнести верное заклинание.

Картавый коротышка, лысый суетливый человек с дикой смесью калмыцкой и немецкой крови – тот, кого Маяковский назвал карателем и мстителем, а Пастернак сравнил с выпадом на рапире, – оставил этой земле и ее безумным хозяевам довольно смысла, ненависти и целей, чтобы хватило почти на восемьдесят лет. Как долго он был у власти? Год? Два? Мировая война закончилась в восемнадцатом году, интервенция и гражданская не давали ему власти до двадцать первого, в него стреляли, он так и не оправился от раны; в двадцать четвертом умер. Впрочем, много времени ему и не требовалось. Мужеубийца Сталин и отупевший от обжорства Брежнев оставались прислужниками волшебной лампы, некогда принесенной им в мир. То есть сами они, конечно же, думали, что давно обогнали в свершениях картавого коротышку, – так думал и Сталин, при жизни лишивший его власти, так думал и Брежнев, полагавший себя практическим строителем социализма. Но чего стоили бы их имперская воля и вальжные партийные отчеты, если бы в жирном теле империи, под орденами и регалиями, не колотилось исступленное калмыцкое сердце. И сердце это пугало: в ударах его – пусть слышались они глуше и глуше – звучала неутоленная страсть, пепеляющая ненависть, решимость доделать все до конца. И стоило слугам лампы – так, между прочим, в перерыве между партийными банкетами и пьянками или перед подписанием расстрельного списка – потерять лампу, произнести дежурный набор ленинских слов, как грозный джинн революции показывал свое лицо миру. И его продолжали бояться, он все еще наводил страх на зубного врача из Ниццы, на адвоката из Люксембурга, на маклера из Детройта. Им, бедолагам из свободного мира, еще мнилось, что джинн дотянется до их домика, увитого розами, до их двора с фонтаном – и все порушит. И похожий на снулую рыбу Андропов, и бессмысленный хряк Хрущев, и вовсе уже комедийный Черненко – наводили страх: под их смехотворной оболочкой клокотало ленинское бешенство. Они не воплощали ленинскую энергию, нет, их дряблая плоть не способна была вместить ленинское бешенство – но они, подобно медиумам, обладали способностью вызывать дух, тот

дух революции, который так и не обрел покоя. Рабы лампы, они знали: как бы ничтожна ни была их собственная биография, стоит им потерять лампу – и мир содрогнется, как встарь. Но всякая лампа рано или поздно портится, а заклинание устаревает, и энергия, жившая сама по себе, без воплощения, развеялась по ветру. Так перевелись джинны и духи, и так энергия, посланная Лениным в мир, ушла из советских вождей. Сердце Великого инквизитора, как называли его перепуганные интеллигенты, или сердце Великого учителя, как называли его твердолобые партийцы, более не колотилось в толстой груди России. К тому времени, когда начался мой рассказ, джинн более не пугал, он только смешил. Когда ставропольский механизатор сделался генеральным секретарем коммунистической партии, он уже не произносил магических слов, он не мог быть шаманом и медиумом. Энергия из России вся вышла, и магия слов исчезла, и нечем было гальванизировать вялое тело державы. Отныне слово «коммунизм» звучало так же, как слово «колбаса».

Почему бы и нет? Так и полагалось по новой моде – по принятой моде постмодернизма, которая отрицала всякую определенность: и понятий, и поступков. Коммунизм или колбаса? Этот вопрос, казавшийся невозможным в эпоху утопий, невозможным в силу того, что понятия эти несравнимы, теперь сделался вполне уместным. Отчего не сравнить? Можно сравнивать, и даже выбрать можно. Сделай, как удобнее, лишь бы не сделать ничего определенного; скажи, как захочется, лишь бы не сказать ничего директивного – это положение явилось последним достижением гуманизма, квинтэссенцией кантовского императива.

Ставропольский постмодернист, храня верность стилю, и не делал ничего определенного. Оно, это определенное, как-то происходило само по себе, а он лишь разводил ладони, сжимавшие власть, – и глядел, как вещи, страны, люди, принципы валяются сквозь пальцы державной руки. Порой он вдруг спохватывался: да что это я? Чего ж это я творю, братцы? Кидался подправлять разрушенное, поднимать уроненное, ронял и рушил опять, метался в панике и не мог решиться ни на что конкретное. Разрушив все вокруг себя, он появлялся на публике с самодовольной улыбкой и повторял свое любимое «процесс пошел». Обещание, данное им опальному академику Сахарову, то самое обещание, что цитировал публике Луговой: «раскачать маятник», он осуществил вполне. Его действительно кидало из стороны в сторону. Он вернул из ссылки легендарного диссидента Андрея Сахарова – пусть узник совести скажет правду, и тут же лишил его слова на трибуне. Никому не нужный старик, зачем-то званный в Кремль и лишенный права говорить, заболел и умер, и тут же постмодернист-механизатор, совесть и забота нации, распорядился назвать его именем проспект. Он отпускал из Союза ССР Литву, а через день посылал туда войска – вернуть смутьянку назад. Он выводил войска из Афганистана – ведь горцы не просили помощи, и одновременно лишал помощи Кубы, которая как раз о помощи просила. Он решил бороться с пьянством в России, где люди дуреют от водки, – и приказал вырубить древние виноградники в Грузии, дававшие легкое сухое вино. Он решил изменить экономический уклад страны и лишил государство монополии на ценообразование, отдал население во власть новых капиталистов – и тут же заявил, что эта «шоковая терапия» продлится всего полгода. Он распорядился сломать Берлинскую стену и, немедленно перепугавшись, – о заботливая душа! – кинулся звонить немецкому канцлеру Колю и лидеру демократов Брандту. Чего же испугался он? Того ли, что, окрепнув, Германия задавит Россию? Того ли, что Русской империи придется проститься с соцстранами? Того ли, что процветающей Германии будет наплевать на нищего соседа и она договорится через его голову с Китаем, объединится с прочей Европой, присвоит себе облюбованные Россией территории? Нет, ничуть не бывало, он разволновался, гладко ли у них, у немцев, все пройдет, как там они, неразумные, – не было бы гражданской войны меж баварцами и пруссаками. Вот так он и представлял себе историю, ставропольский постмодернист. Гражданская война давно уже шла в той стране, которой он якобы управлял; шли бои в Азербайджане и в Молдавии, в Абхазии и в Грузии люди распарывали друг другу животы, но он – широкий человек – не замечал этого.

Ну это так, это пусть себе, глядишь, и обойдется, а волновало другое. Он спрашивал у Вилли Брандта, хмуря брови, ответственно морща лоб, спрашивал, как демократ демократа, с тревожной заботой: «Скажи, Вилли, ты сделал все, чтобы не было резни?» – «Где?» – недоумевал Брандт, сидя дома в Бонне и открывая бутылку бургундского. – «У кого?» – «У вас, у немцев, – сокрушался Горбачев, – смотри там, поосторожнее». – «Успокойся, Миша, – говорил Брандт, наливая немного Шамбертена на дно бокала и покачивая темное вино, чтоб то подышало, – гражданской войны не будет». Она уже идет у тебя, дурень, – хотел добавить Брандт, но смолчал. Он повернул к Бригитте свое мужественное лицо бойца шведского Сопротивления, показал на телефонную трубку и постучал пальцем по лбу: каков идиот! А сельский постмодернист уже названивал в это время канцлеру Колю – предупредить о беде, об идущей гражданской войне: поосторожней, Гельмут! Держись!

Он инстинктивно чувствовал, что своей проворной вороватой рукой отвернул какую-то опасную и нужную гайку в мировом устройстве, он слышал грохот – то валились конструкции его родного дома. Но те, с кем он советовался, убеждали его, что грохот – свидетельство масштаба преобразований, что он, ставропольский мужичок, нетвердо знающий географию и смутно представляющий отличие Албании от Анголы, принимает судьбоносные решения, и его советчики не врал; и впрямь, спору нет, решения были судьбоносными. Иностранные лидеры уверяли его, что он политический гений, потому что так вовремя и качественно рушит свой мир, не цацкается со своими пенсионерами и солдатами, не рассусоливает по поводу промышленности, не повторяет ленинских задов – давно бы так! Вот ведь молодец мужик, каков государственный ум! И его радовало признание иностранных правительств. То было особое, не испытанное никем из советских руководителей чувство – искренне обниматься с капиталистами, глядеть восторженно глаза в глаза, по-братски делить черную икру с американским президентом – ведь мы теперь сообщаем, одно дело делаем – как же иначе? Он полюбил обниматься с британским премьером и с немецким канцлером, называл последнего «мой друг Гельмут», поставропольски напирая на «г». На плакатах с надписью «Герои XX века» помещали его лицо – между Черчиллем и Ганди. И ему не случалось задуматься над тем, что Черчилль отстоял Британию, а Ганди освободил Индию – в то время как он разваливает Россию; он думал совсем иначе. Он думал так: я даю своему народу свободу, у них не было свободы, что ж, я дал им ее. Я нащупал нужную гайку, думал он, и я смело ее повернул. Не очень, правда, понятно, что это за гайка и что это за машина, в которой я повернул ее, но, судя по всему, все сделано верно – эвон как все забегали. Навел я шороху! И только иногда он замирал в испуге – до него доносился грохот: то рушился созданный его отцами мир.

Когда события зашли неостановимо далеко и степень разрушений увидел даже он сам, ставропольский механизатор предпринял очередной шаг – а все его шаги по обыкновению делались одновременно и налево, и направо. Он отправился в отпуск в Крым, приказав кабинету министров ввести в стране военное положение и вернуть Советский Союз на прежнее место и в прежнем качестве. И как всегда, в обычной своей манере, он рассматривал сразу два варианта – и не от коварства, даже не от безволия, а от убеждения, что так и правильно делать: сразу и то, и другое, а в целом – само устроится. Он и сам не подозревал, насколько стиль его поступков был созвучен принятой в ту пору ведущими интеллектуалами манере мышления; он был стихийный постмодернист. Если бы предприятие увенчалось успехом, он вернулся бы к старой форме управления, но если бы иностранцы вовсе не одобрили путч, он отказался бы от соратников и заявил, что его держали под арестом и он сам – первый пленник коммунистов. В общем, как-нибудь да выйдет. К чему нам ясные планы и четкие конструкции? Новое мышление выше этого. Нехай одни делают одно, другие – другое, страна катится в тартарары, а я поехал в Крым. Вводите, ребята, танки, там разберемся.

Иностранные державы путч не одобрили, не одобрили они и колебания в деле по развалу России. Что это такое? Мыслимое ли дело – тормозить в самый ответственный момент? Они

давно уже присмотрели следующего кандидата на управление разоряющейся страной, того, кому готов был передать свою дружбу Гельмут Коль и открыть свои объятия британский премьер. Этот новый кандидат, подчиняясь основному закону российской истории, гласящему, что на смену лысым и маленьким приходят крупные и волосатые, был рослым мужчиной с пышной шевелюрой. Других особенностей не просматривалось, но и этих было довольно – и с лихвой. Куда больше? Претендент на престол собрал вокруг себя единомышленников, бросил клич к сопротивлению диктатуре и за дальнейшую деструкцию страны. Интеллигенция России поддержала нового кандидата – и кинулась строить баррикады возле дома, где заседал комитет по спасению плана по дальнейшему развалу России.

II

Что символизировали эти баррикады – бесполезные, если бы власти правда их атаковали, но значительные в мирные дни? Новую свободу, так во всяком случае считал Виктор Маркин. Маркин, диссидент со стажем, и Первачев, видный мастер подпольного искусства, приходили постоять ночью на баррикадах, пили кубинский ром из фляги Первачева.

– Вот он, глоток свободы, – говорил Маркин, давясь ромом. Он стоял на баррикаде, ночной ветер трепал седую бороду. Взгляд Маркина сверлил пространство в ночи – впереди угадывались башни Кремля, оплота реакции. Туда, в направлении рубиновых звезд, и простер руку Маркин, и потряс кулаком, и сказал: сегодня мы уже не отступим! Маркин широким жестом перекрестил Кремль, подобно тому как крестным знаменем отгоняют нечистую силу, и тут же молодые люди, обступившие его и во всем следовавшие его примеру в сей грозный час, принялись крестить творение Аристотеля Фьораванти, а Эдик Пинкисевич даже пробормотал: сгинь, рассыпся! Правду говорят очевидцы или нет, только, судя по рассказам, Кутафья башня дрогнула, и стая ночных ворон сорвалась с шатрового купола с карканьем.

– Им не выстоять, – сказал Первачев, глотая ром, – сегодня весь мир с нами. Прорвемся.

– Прорвемся! – крикнула молодежь, и – кто с камнем в руке, кто с бутылкой, кто с книгой, кто с недокушанным бутербродом – они застыли на баррикаде, готовые лечь под танки, но не дать коммунизму возродиться в этой стране. Эдик Пинкисевич стоял, прижимая к груди свой последний опус – на небольшом сером холсте были изображены лиловые треугольники и розовые кресты; он выставлял холст вперед, точно икону в окладе. Прошел час, и на баррикаду приехали мрачные личности в черных куртках и с бритыми затылками – старший из них отрекомендовался бойцом Тофика Левкоева и сказал, что он за свободный бизнес и поэтому привез на баррикаду гранатомет. Он крепко пожал руки Пинкисевичу и Маркину, причем на запястье его мелькнула синяя татуировка, изображающая змею. Скоро Тофик подъедет с патронами, успокоил диссидентов татуированный человек. Пинкисевич заметно вздрогнул и кивнул. Владислав Тушинский, пришедший на баррикаду несколько позже других, принес грозные новости – колонна танков Таманской дивизии движется по направлению к баррикаде. Слышите? И действительно, то ли со стороны Кутузовского проспекта, то ли от Садовой доносился шум. Отдан приказ стрелять боевыми и не брать пленных, уточнил Тушинский.

– Как, боевыми? – ахнул Пинкисевич. – Почему же это не брать пленных? Ах, палачи! А если кто-то захочет сдаться? Надо срочно позвонить Грише Гузкину, чтобы не приходил сюда. Кто-то ведь обязан сохранить себя для искусства. Пусть он уцелеет и расскажет правду.

III

Бросились звонить Гузкину и не дозвонились – он давно уже был в австрийском посольстве и оформлял документы беженца. И кто бы упрекнул его? Разве бы нашелся такой? В то время как Маркин осенял крестным знаменем твердыню власти, а Тофик Левкоев раздавал

патроны, Гриша Гузкин подходил к резным дверям посольского особняка. Часовой в пурпурном аксельбанте знал Гришу и, взглянув на измученное лицо художника, пропустил. Гузкин одернул новый пиджак, поправил манжеты, пригладил бородку, подстриженную на французский манер, и вошел, стараясь не выдать волнение. Первую фразу он заготовил по дороге и с порога произнес следующее: «Дантон говорил, что Родину нельзя унести в эмиграцию на подошвах туфель, – пусть так. Но подлинная Родина художника – это его творчество!» Он выпалил эту тираду до того, как поздоровался, и, уже договорив, огляделся и понял, что слушателей у него слишком много. В кабинете, помимо хозяина, Крайского, расположился в мягком кресле Ганс фон Шмальц, а напротив него сидел Иван Михайлович Луговой. Несколько незнакомых мужчин в перстнях и дорогих костюмах склонилось над столом с бумагами. Курили сигары, плотный дым стелился под потолком, расписанным купидонами. «Ну и куда же ты собрался, Гриша, – мягко сказал Луговой и выпустил колечко дыма, – ты ведь России нужен». Комната качнулась в глазах Гузкина, он ухватился за консоль с Дианой-охотницей. «Ты не волнуйся, Гузкин, не качайся, весь антиквариат послу перебежешь, – продолжал Луговой, – скоро все кончится, еще часа два-три. – Однорукий Двuruшник посмотрел на часы. – Потерпи, успокойся, вон, водички попей». – «Вы, Гриша, садитесь, садитесь, – подхватил фон Шмальц, а потом улыбнулся Луговому и Крайскому, – а может быть, отпустить парня в эмиграцию, а?» «У вас что, своих таких мало?» – спросил Луговой. «Пусть, пусть поедет. Господин Гузкин снискал заслуженное уважение западного общества, – пробасил Крайский благосклонно, но консоль, как бы между прочим, от Гриши отодвинул, – художник должен видеть мир. Давайте паспорт, Гриша». «Я вам советую, Гриша, ехать в Германию, – заметил фон Шмальц, – в Берлин. В новый, объединенный свободный Берлин». Фон Шмальц и Луговой переглянулись. «А спокойно ли у вас в Европе? Не попасть бы там Грише в передрагу, – ехидно поинтересовался Луговой, – не началось бы, оборони Создатель, гражданской войны. Передерутся того и гляди баварцы с пруссаками. Наш генеральный очень переживает». Фон Шмальц и Крайский хохотали. «Баварцы подерутся из-за русской нефти», – сказал сквозь смех Крайский. Незнакомые мужчины, присутствовавшие в комнате, поочередно пожали руку Гузкина своими белыми мягкими руками. Один из них представился: Сименс, а другой назвался: Бритиш Петролеум, а третий поинтересовался, не еврей ли Гузкин. «Да, я еврей», – сказал Гузкин, который знал, что в случае эмиграции – еврейство скорее благо. «Как же вас, наверное, угнетали в России», – сочувственно промолвил собеседник, задержав руку Гузкина в своей руке, причем перстень его с граненым аметистом впился Грише в палец. Гузкин подтвердил факт своего поражения в правах и покручинился вместе с иностранцем над судьбой советских евреев. Он хотел было рассказать, что его деда сожгли в сорок втором в Белоруссии, но вовремя спохватился. Жгли-то немцы, а какой нации собеседник, Гриша не знал. Не получилось бы неловко. «Очень тяжело, – сказал Гузкин, – испытывать постоянно антисемитизм. Чувствуешь себя чужим в этой стране. Она фактически выталкивает меня на Запад». Собеседник скорбно покивал, повернулся спиной к Грише и возобновил разговор с Луговым. «Нижевартовск, – сказал он, – мы практически освоили, но не мы одни. И сколько еще надо вложить». – «А что же Нефтеюганск?» – спрашивал фон Шмальц. – «Как и договорились – без изменений, – отвечал Луговой, – тендер проведем в октябре. Но платить надо сегодня». – «А гарантии?» – «У тебя за окном гарантии». И Однорукий Двuruшник показал на темное окно, за которым проходила демонстрация интеллигенции. Молодые люди выкрикивали «Фашизм не пройдет!» и потрясали в воздухе плакатами. Человек, назвавший себя Бритиш Петролеум, открыл окно и, вооружившись фотоаппаратом, стал снимать демонстрантов. Молодые люди, увидев вспышки камеры, возбудились. – Корреспонденты! – кричали они. – Я же говорил, что инкоры придут! Интервью! Я дам интервью! Гласность! Свобода! Фашизм не пройдет!

Бритиш Петролеум поднял руки, сцепив их в приветственном пожатии, и стал скандировать, дирижируя толпой: *Freedom! Open Society! Perestroika! – Freedom!* – кричала толпа в ответ. – Открытое общество! Нет фашизму!

Ночной ветер ворвался в здание посольства, разметал тяжелые занавески. Гриша Гузкин глотал холодный ночной воздух и думал: вот, все меняется, и судьба страны, и моя судьба. Неужели пришло время? Ранним утром он уже летел в Берлин.

Повстанцы на баррикаде всю ночь ждали событий, но события не приходили к ним, колонна танков, ползгав вдали гусеницами, развернулась и ушла обратно, и дух революции, который хотели оживить, – не оживал, лампа окончательно сломалась: теперь три ее или не три – а джинн больше не прилетит. Кончилось время Советской власти. И стоявшие на баррикаде в ту ночь поняли, что победили. Ночной ветер, тот самый ночной ветер, что растрепал занавески посольского особняка, трепал и бороду диссидента Маркина; Пинкисевич плакал, и ветер сушил слезы на его щеках, а пьяный Первачев кричал: прорвемся! – и ветер подвывал в такт его крику: прорве-е-е-мся!

IV

Действительно, прорвались. Куда прорвались, этого никто не знал, да никто и не старался выяснить. Победили и отстояли – а что отстояли, никто и не удосужился спросить. Весь мир, во всяком случае, та его часть, которая определяла, каким быть остальному миру, высказалась ясно: никаких коммунистических поползновений больше быть не должно. Хватит. И когда перепуганный ставропольский постмодернист из своего курортного далека заявил, что его, мол, держали под домашним арестом, паек урезали буквально до слив и винограда, а теперь он-де в ужасе от содеянного помощниками, когда он проклял своих министров и рассказал, как томился и страдал на Черноморском побережье, мир сделал вид, что верит – но не поверил, и власть механизатору уже не вернули; мир позволил, чтобы власть перехватил претендент с густой шевелюрой, более последовательный демократ, постмодернист порадикальнее.

Новый властитель оказался действительно более последовательным. У него ненужных метаний не наблюдалось, только нужные. В этом вопросе надобно как следует разобраться. Деконструктивизм и сомнения – это, конечно, правильно, но тут есть тонкость. В постмодернизме ведь что важно? Принципиальность в сомнениях, а случайных, необдуманных сомнений никто не одобрит. Деструкция – принцип чрезвычайно важный, но применять его ко всему подряд не стоит. И новые французские философы, и новые московские интеллектуалы прекрасно понимали, что есть вещи, которые надо подвергнуть деструкции, как, например: режим, партия, убеждения, долг, границы и т. п., а есть вещи, которые деструкции подвергать не стоит, например: Лазурный берег, счет в банке, открытый паспорт, устричные бары, хорошее бордо. То, что ставропольский постмодернист метался из стороны в сторону, – это было неплохо, но лучше, когда метания движутся в заданном направлении. Деструкция – это в целом хорошо, но надо помнить, что этот принцип применяется избирательно, а не ко всему подряд. А то ведь запутаемся.

И тут, надо признать, новый властитель России оказался на высоте. Вопрос «рушить страну или не рушить» он решил положительно: надо рушить, пора. Уж рушить, так рушить, к дьяволу полумеры! Нечего тут рассусоливать! И разрушил Советский Союз до основания – просто распустил империю, как некогда революционный матрос распустил Государственную думу. В одночасье Россия приняла самое знаменательное решение в своей истории – выйти прочь из Советского Союза, то есть из империи, которую сама же Россия строила почти тысячу лет. То есть послать к черту все то, что веками собирали цари и вожди. Для чего нам в самом деле все эти колонии, «жаркие шубы сибирских степей», леса, моря, проливы, несправедливо присоединенные земли! Взять да и вылезти из этой жаркой шубы и отправиться голыми на мороз

– вот решение не мальчика, но мужа. Такое решение осенило нового российского хозяина, и мир рукоплескал его отваге. Его сравнивали с Петром, имея в виду масштаб реформ. Да и куда там Петру! Подумаешь, Балтика! Подумаешь, Иван, да Петр, да Екатерина копили, подумаешь, Сталин завоевывал! Мы вот с ребятами выпили и решили – а зачем нам это все? Ну на хрена? Ну для чего, если разобраться? И соседи вот тоже говорят: вам, мол, это ни к чему. Ну и пусть себе валится эта обуза к черту на рога. Взяли – и выбросили. Петр Великий сказал: нам нужен флот. Мысль государственная, значительная. А первый Президент свободной России сказал: нам флот не нужен. А что? Тоже звучит недурно. Мысль тоже государственная, масштабная такая мысль. Так прекратила свое существование Российская империя – еще вчера была, а вдруг раз! – и не стало. Думаете, нам слабо? Сказано – сделано! Лихо, а?

День развала Российской империи объявили государственным праздником – и повелели отмечать его как День свободы. Население, интеллигентное население в особенности, приняло праздник всем сердцем – и день освобождения России от себя самой сделался любимым днем. Его отмечали шампанским и фейерверками, проклиная угрюмые застенки прошлого и радуясь новому изданию нищеты и рабства.

При ставропольском механизаторе русской душе было как-то тягостно, он, мыслитель нового типа, оставлял слишком много вопросов своему народу неразрешенными: то ли разваливать страну, то ли ее строить, то ли бороться с пьянством, то ли пить мертвую; зато при новом хозяине все прояснилось, и началось широкое народное гулянье. Столь же радикально и просто, как вопрос с Государством Российским, был решен вопрос с пьянством: разумеется, надо пить, и много пить, каждый день. Антиалкогольная кампания, затеянная слабохарактерным ставропольским механизатором, захлебнулась – и захлебнулась она в алкоголе. Пили все, и выпивка скрасила унылое существование страны. Мнение князя Владимира касательно природы русского веселья подтвердилось в полной мере. Что бы со страной и народом ни происходило, не стоит унывать. Если посмотреть по сторонам, трудно, пожалуй, найти повод для смеха; однако стоит выпить пару бутылок, и настроение заметно улучшается. Веселиться так веселиться, чего уж там сидеть с постным видом. И скрывать веселье перестали. Правитель – он теперь именовался не царем, не генсеком, но первым русским Президентом – брался за дело прямо с утра, и веселье лилось литрами. Помощник президента (Однорукий Двuruшник, разумеется, сохранил за собой эту должность) гадал, наберется ли президент уже к полудню или можно рассчитывать, что глава государства продержится до обеда – иными словами, когда подписывать бумаги, принимать делегации и т. п. Лучше бы за завтраком, потом уже рискованно.

Благородное намерение первого российского Президента развалить все к чертовой матери встретило понимание и у населения, и в непосредственном политическом окружении. Задача была ясна, исполнение почти не требовало усилий. Но кое-какие рабочие, так сказать, вопросы оставались открытыми. Поскольку прочий мир все-таки еще существовал, и лев еще не улегся рядом с ягненком, и проект Исайи в дипломатию еще не внедрили, то все-таки из чего прикажете исходить? Какой стратегии придерживаться? Как себя вести по отношению к соседям? Просто напиться, а там – посмотрим, что будет? Тактика неплохая. Конечно, было бы недурно взять, например, и сдать Запад. Нехай они нас колонизируют и просвещают. Появились исторические труды с сетованиями на то, что Россию в свое время не колонизировал Наполеон. Борис Кузин называл это «упущенным историческим шансом», а бойкий журналист Шайзенштейн пошел еще дальше и опубликовал в «Континенте» статью с сожалениями: зачем так вышло, что Россию не захватил Гитлер. Конечно, писал Шайзенштейн, многих бы поубивали, а меня бы, еврея, и на свет некому было бы рожать, зато оставшиеся оказались бы в культурной западной стране. И уж во всяком случае, такой поворот событий не дал бы цвести большевизму, этой чуме XX века. Так рассуждал бойкий Шайзенштейн, и многие с ним соглашались.

Когда я говорю «многие», я, разумеется, имею в виду ту часть населения России, мнением которой интересовались, – и прежде всего, конечно же, демократически ориентированную интеллигенцию. Ну не мнением же бабки из Орла интересоваться корреспонденту журнала «Дверь в Европу»? Не разведывать же настроение слесаря из Подольска? Хрена ли с них возьмешь, с пропитых мерзавцев. Им бы, сволочам, трояк до получки надыбать. Понятно, что мнение может иметь только субъект с развитым сознанием, – и не случайно интеллигенцию называют «совестью нации». Помнится, раньше совестью нации (а также ее умом и честью) называли коммунистическую партию, но партия себя не оправдала – и совесть тут же отыскали в другом месте. Интеллигенция вздохнула с облегчением, когда Российская империя развалилась: теперь не надо было краснеть перед иностранцами за размеры территории, испытывать стыд перед латышами за то, что надписи в их магазинах выполнены по-русски. А то было совсем муки совести заели – и вот на тебе! Радость! Не надо больше стыдиться! Латыши выбросили русский алфавит на помойку, снесли памятник Ленину, посадили в тюрьму русских офицеров, задержавшихся в Латвии после войны, прославили латышский батальон, примкнувший к Гитлеру, и провели на площади Свободы парад ветеранов-эсэсовцев. То-то хорошо! То-то независимо! Ведь главное что? Не гнетет больше русского интеллигента эта проклятая совесть, не мучает, не свербит. И народ, прислушиваясь к интеллигенции, тоже понял, что совесть более не свербит и что пришла пора ломать старье. Описывая события тех лет, нельзя пройти мимо свержения памятника Дзержинскому – да, да, тому самому, чекисту – на Лубянской площади. Народ, ведомый Виктором Маркиным, Захаром Первачевым и Эдиком Пинкисевичем, вскарабкался на гранитную статую, опутал ее веревками и – под улюлюканье и свист – свалил с пьедестала. Но еще до того, как каменный истукан был низвергнут, вокруг него разыгрались сцены, достойные истории. У каждого пришедшего в тот день на встречу с каменным Дзержинским были свои счеты со статуей. Никогда еще статуе командора не приходилось встречаться с таким количеством Дон Гуанов, пришедших ее дразнить. В лицо недвижному исполину летели камни, проклятья, дерзости и остроты. Леонид Голенищев, чернобородый красавец, Дон Гуан наших дней, встал подбочась напротив Дзержинского и сказал так: «Дзержинский? Вот нечаянная встреча! Ты нынче весь к моим услугам, сука!» – «Ты позовешь его на ужин, Ленка?» – хохотал Первачев, а сам уже накидывал аркан на шею истукана. «Что ж, пусть приходит, хам. Но снять галоши в передней я велю. Нельзя иначе: блюдут интеллигентность чистоту». Статуя дрогнула, стала заваливаться на бок, народ ахнул: символ власти и государственности рушился прямо на глазах. Продолжая аналогию с Дон Гуаном – впервые в финале русской драмы торжествовал адюльтер. Статуя грянулась о мостовую, и подошедший к лицу поверженного врага Леонид поставил ботинок ему на впалую щеку и сказал короткую, но яркую речь, именуя врага то Дзержинским, то командором. Сейчас речь эта уже стерлась из моей памяти, но желающие могут найти ее в газетах тех лет – стоит лишь поднять архивы. Искрометный этот спич перепечатали и в «Коммерсанте», и в «Бизнесмене», и в «Европейском вестнике», и в «Herald Tribune». Помнится, в «Herald Tribune» даже пошутили и заголовком поставили цитату из Карла Маркса: «Человечество смеясь прощается с прошлым». И верно, уж кто-кто, а Леонид Голенищев умел посмеяться, да вообще смеялись в тот год много.

V

Взять хотя бы празднование юбилея Аркадия Ситного. Вот это было веселье, так веселье. Корабль «Аврора», легкий прогулочный катер, приписанный к Московскому речному пароходству, был арендован прогрессивной столичной интеллигенцией по случаю дня рождения министра культуры Аркадия Ситного. Проявив живую фантазию, прогрессисты выкрасили белый пароход в черный цвет и распорядились обить борта жестью – дабы придать полное сходство со злополучным крейсером. Над палубами выставили картонные трубы, из окон наружу – дула

игрушечных пушек, а команде велели нарядиться революционными матросами. Плыть летом на обитом жестью корабле оказалось нестерпимо жарко, но стиль требовал жертв, тем более что на палубах было прохладно и революционные матросы разносили прохладительные напитки. Маршрут был выбран тоже не случайно – плыть решили по Беломорканалу – легендарным путем, тем самым, что когда-то торили узники ГУЛАГа, по которому некогда плыл корабль с деятелями культуры, призванными прославить рабский труд. Теперь же – не рабы Советской власти, не служащие партаппарата, не подчиненные указке вождя – а свободные прогрессивные люди плыли на «Авроре» по Беломорканалу, плыли свободно – с цыганами, с песнями, с водкой, плясали, шутили, пели – отмечали день рождения министра культуры Аркадия Ситного. Сам Аркадий Владленович Ситный, полный и положительный мужчина с пухлым розовым ртом, его заместитель и верный друг Леонид Голенищев, Герман Басманов, удачно совмещающий президентство в «Открытом обществе» и парламентскую активность, и их деловой партнер из «Бритиш Петролеум» Ричард Рейли расположились на верхней палубе под тентом. Там были тень, виноград, холодное сухое. Внизу же бушевало жаркое веселье. Гости из Министерства культуры, декорированные под служащих Наркомпроса, лихо отплясывали на палубе модный в те годы танец ламбада. Крепкий министерский хозяйственник Шура Потрошилов, внук маршала Потрошилова, испытанный снабженец и примерный взяточник, сотрясал палубу ударами полных своих ног. Танцующие бодро терлись бедрами и стукались животами, латиноамериканская мелодия будоражила кровь демократов. Отец Николай Павлинов, обряженный в революционного агитатора, в фуражке, надвинутой на глаза, в скрипучих сапогах, держал в руке плакат «Долой Бога!», другой прижимал к животу бутылку бордо и выкидывал потешные коленца. Роза Кранц и Голда Стерн, одетые комсомолками-активистками, повязали себе красные косынки, взяли за руки и пели Интернационал. Сестры Плевако, пожилые бойкие девушки, заgrimировались в крестьянок и, вооруженные игрушечными вилами, гонялись за пассажирами с милым смехом. Каждый нарядился как мог. Вот проскакал на одной ножке Петя Труффальдино в бескозырке с надписью «Юркий». Вот Яков Шайзенштейн, одетый Котовским, с бритой головой и в галифе, стреляет из водного пистолетика. А это чеканит шаг молодой Дима Кротов – он одет чекистом и показывает всем свой красный мандат. Каждый что-нибудь учудил! Одному Пинкисевичу не пришлось менять наряд – он, как обычно, явился в драном ватнике и треухе и теперь изображал путиловского рабочего –пил водку и ругался матом.

Ах, как поменялись времена! Никто, решительно никто теперь не боялся старых идолов, не пугал их ни Сталин, ни КГБ, ни ГУЛАГ. Исчез страх – как не было его вовсе. Подумаешь, ГУЛАГ! Подумаешь, «Аврора»! Нашли чем испугать!

Теперь те, кто раньше на каждой странице ссылался на Ленина, гвоздили лысого без пощады, а один пылкий театральный режиссер (известный тем, что в годы коммунистической диктатуры умудрялся лизать зад начальству с независимым выражением лица) даже публично заявил, что не будет, мол, этой многострадальной земле покоя, пока кровосос лежит в Мавзолее. Вплоть до того. Наотмашь. Тираду эту перепечатал «Бизнесмен», и сердце просвещенного обывателя сладостно екало, когда он читал эту отъявленную крамолу в центральной газете. Теперь можно было во весь голос говорить о наблевшем, о том, чего власти народу недодавали эти проклятые годы. Они нам недодали комфорта и прав, элементарных удобств и благосостояния. И можно было теперь смело, не таясь, заявить об этом, потому что этого как раз очень все время хотелось. Да, теперь слова «человеческие права» звучали столь же часто, как ранее слово «обязанности». И чаще, чаще!

Надо ли говорить, каким ликованием встретила компания ряженных появление на верхней палубе группы вождей – Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Вожди, перевесившись через фальшборт, выкрикивали лозунги и грозили толпе кулаками. То были: Аркаша Ситный, обряженный Карлом Марксом, в приклеенной косматой бороде; Леня Голенищев в облике

Энгельса, то есть с бородой-лопатой; Ричард Рейли в ленинской кепочке и с ленинской бородкой; Герман Басманов, изображающий Сталина и пыхтящий трубкой.

– Товагищи! – смешно картавил Рейли, дергал бородкой и шурился.

– Дарагие братья и сестры! – медленно цедил Басманов.

– Геноссе комарадос! – непонятно на каком языке восклицали Ситный с Голенищевым. Вожди салютовали толпе бокалами – и внизу под ними бушевало веселье.

– Дедушка Ленин, – кричали снизу сестры Плевако, – прикажи, чтоб революционная матросня подавала горячее!

– Уважаемый основоположник! – надрывался Яков Шайзенштейн. – Водка-то вся вышла!

– Водка, товагищи, дело агхиважное! – каркал Ильич. – Уважаемый товагищ Магкс, огтанизуйте агхисгочно бутылочек тгидцать для голодающего кгестьянства!

– Ихь организирен аллес по потребностям! – отвечал Маркс по-немецки.

Роза Кранц и Голда Стерн отдавали пионерский салют, Петя Труффальдино застыл по стойке «смирно», работники Минкульты взяли под козырек. Веселье достигло своего апогея, когда революционные матросы вынесли ящики с водкой, а на ящиках вдоль и поперек были написаны лозунги: «Вся власть мировой буржуазии!», «Ешь ананасы! Рябчиков жуй!», «Да здравствует капитализм, победивший социализм в мирном соревновании!», «Даешь теневую экономику!», «Дави красную гидру!». Отец Николай Павлинов корчился от смеха, Шайзенштейн согнулся дугой, Потрошилов тряс всеми четырьмя подбородками. Да, это вам не времена брежневского застоя, когда приходилось отсиживаться по кухням и острить вполголоса.

Так корабль «Аврора» плыл по Беломорканалу, и далеко над водой разносились задорный смех и молодецкое гиканье. И слышны были проклятья в адрес придурков-большевиков и улюлюканье над постылой Советской властью. И весело, отчаянно смешно было пародировать старых маразматиков, давно законопаченных в кремлевские стены. Поделом законопаченных, накрепко, навсегда! И было понятно всем, что так и надо прощаться со старьем, беззаботно и с шуткой. И они, красивые отважные весельчаки, в голос хохотали, вспоминая лагеря и расстрелы, они свободным смехом своим выносили приговор отжившей системе. И выкидывали антраша, и плясали, притопывая, опрокидывали стаканчики, обсасывали куриные ножки, подмигивали девушкам, смеялись над нестрашной уже тюрьмой народов. Так палата сифилитиков смеется над чумным баракком.

VI

Корабль плыл по Беломорканалу, а тем временем дела поворачивались так, что этот канал делался уже почти бесполезен для иной навигации; разве что прогулочным пароходам с развеселыми отдыхающими и осталось бороздить его воды – прямое же его назначение (столь волновавшее державные умы) более никогда и никому уже не потребуется. Некогда мужеубийца Сталин, продолжая дело кровавого Петра, задумал прорыть путь прямо из Ледовитого океана к Европе – в Балтику, и тысячи заключенных вымостили своими костями русло этой дерзкой мечте. Теперь их страшная смерть сделалась к тому же и бессмысленной: при развале империи Россия лишилась морей, портов, осталась со слабым флотом – и для чего теперь канал, по которому предполагалось выходить из Белого моря в Балтику, догадаться было трудно. Потеряли единым разом черноморские, каспийские, балтийские порты. Мурманска и Новороссийска на такую огромную страну недостаточно, а Петербург – какой он порт? Черноморский флот поделили с Украиной, торговые суда Балтфлота забирали эстонские и литовские предприниматели, над каспийскими волнами гордо реяли флаги азиатских стран – бывших республик Советского Союза. С гуманистической точки зрения это, конечно же, было отрадно: знать, что народы Востока и прибалтийские соседи обрели независимость, – это, конечно же, недурно, эта мысль ласкает просвещенный ум; но иным, недалеким русским гражданам, закостнелым в своем пат-

риотизме, делалось обидно. По балтийским волнам (отвоеванным Петром и воспетым Пушкиным) более возить товаров в Россию не будут, напротив: будут драть втридорога за пользование волнами, и не с кого-нибудь, а с русских граждан, которые, собственно говоря, эти волны и освоили, и порты по этому морю построили. Как же так? – говорили обидчивые. – Мы работали, горбатились, а прибалты поживились. Это с какой такой радости? Или, скажем, Крым взять. Мы Крым завоевали, триста лет возделывали, деревья сажали, водопровод тянули, дома и порты строили – а теперь все досталось хохлам. Это как понять? Справедливо, да? Почестному?

Носильщик Кузнецов, например, высказался в беседе с коллегами по работе крайне резко. Он сказал так: «Я если хохла еще какого увижу, харю эту сальную с усами, я ему все грызло разворочу. Усы вырву. Паскуды». Товарищи возразили ему: «Ну, Саня, так тоже нельзя. Ты что? А Тарас Ященко? Он ведь хохол. А парень-то наш». «Ященко ваш – падаль, – сказал Кузнецов, – дрянь человек». И товарищи, подумав, согласились с ним.

Тарас Ященко по прозвищу Сникерс (он любил сладкое) уже некоторое время не исполнял своих прямых обязанностей носильщика, поскольку сделался на вокзале фигурой особенной, с привилегиями. Его должность теперь называлась сток-брокер, а что это слово означает, объяснить было весьма трудно. Он обычно стоял около вагонов, когда его товарищи выгружали из них мешки и ящики, и делал пометки в блокноте, а на ящиках иногда проводил полоски. «Помоги, сука, Сникерс!» – кричали ему, а Сникерс супился и отвечал сдержанно: «Я теперь сток-брокер, мне носить не положено». – «А что ж ты такое важное, пидорас, делаешь?» – кричали ему товарищи, но Сникерс затруднялся с ответом.

Ответить Сникерсу действительно было непросто. Никакой конкретной деятельности он не осуществлял: поездов не водил, не носил тяжестей – а так: ходил туда-сюда, слово скажет там, слово здесь, тут покурит, там чайку попьет, – но постепенно весь вокзал стал каким-то образом зависеть от него. Случалось ему теперь и на директора повысить голос, а бывших коллег своих он и за людей-то не держал. И то сказать, весь мир за последние годы сделался зависим от профессий, не производящих никакой конкретной деятельности, но осуществляющих промежуточные, посреднические функции. Мир, а вслед за ним и Россия, наполнился цветущими молодыми людьми в галстуках и запонках – менеджерами, брокерами, дистрибьюторами, консультантами, медиаторами, кураторами, риелторами, девелоперами, посредниками, промоутерами, пиар-агентами. Постепенно их деятельность, их мнение, их решение сделались важнее, чем деятельность, мнение или решение тех, кто непосредственно работал. Иными словами, марксистская теория капитализации общества, то есть схема «товар – деньги – товар» и ее модификация «деньги – товар – деньги», перестала описывать процесс эксплуатации труда. Теперь труд уже не эксплуатировали – он попросту перестал быть ценностью, и его эксплуатация более не требовалась. Продавали отныне не труд, не продукт и даже не деньги, а некую систему отношений, которая стала воплощать товар и деньги так, как некогда бумажная купюра стала воплощать золото. Система отношений, образ жизни, который представляли собой эти бойкие люди в галстуках и запонках, сделались ценностью, превосходящей продукт, который они рекламировали. Собственно говоря, удачная реализация продукта могла привести только к увеличению класса менеджеров. Прежде, гуляя по переулкам столицы, зевака мог наблюдать странные скопления молодых людей у подъездов учреждений. Праздные балбесы, они растягивали свой обеденный перерыв на три часа, стояли, подпирая стены, плевали на мостовую, курили. То были инженеры – советская страна выпускала избыток этих никчемных существ с высшим образованием, но без определенных занятий. Теперь жалкие сослужащие сменились на процветающих капслужащих – подвижных, энергичных. И целью общественного развития стало преумножение этого племени – ибо что же может быть лучше. Искомым результатом рыночной деятельности стало процветание класса менеджеров, который и воплощал идеал развитого общества. Теперь целью не было заработать трудом или обманом денег, чтобы на

эти деньги поехать отдыхать, – целью стало поддерживать образ жизни менеджера, в котором работа и отдых переплетены неразрывно. Теперь схема рыночного обмена выглядела так: менеджмент – деньги – менеджмент – товар – менеджмент – деньги – менеджмент, и роль конкретного производителя, которая уже утратила былое значение и во времена Маркса, нынче свелась к минимуму. В принципе, можно было бы обойтись и без него, без этого нелепого рудимента романтических эпох – без этого пахаря и сеятеля. Молодые люди повсеместно стремились получить в качестве образования так называемый сертификат МВА – то есть свидетельство, что они освоили менеджмент, бизнес и администрирование, – а совсем не знание какого-то дела, того, что в старину именовали делом. И однажды Сникерс сказал Кузнецову: «Ты, Кузнецов, дурак. Человечество вперед ушло, а ты так всю историю на ящиках просидел». И это было правдой.

Разумеется, в той сфере человеческой активности, которую именовали по привычке искусством, случилось то же самое. Роль художника, то есть человека, непосредственно производящего продукт, сделалась не столь нужна, как роль того, кто этот продукт обществу предъявлял. Да и продукт как таковой сделался не столь уж значим. Некогда художник Курбе говорил: дайте мне грязь, и я напишу ею солнце. Теперешний культур-брокер мог сказать: дайте мне грязь, и я заставлю покупателя видеть в ней солнце. Подлинным творцом сделался агент-посредник, интерпретатор деятельности.

Менеджмент в культуре следует понимать широко: от представления культурного товара зрителю и до представления самого мастера – истории. В самом деле, кто-то ведь должен заниматься и этим делом, важнее ничего и не придумаешь. Так, например, знаменитый «список Первачева», определивший главные имена творцов нового мышления, был опубликован, сделался известен, и имена этих славных людей стали символом всего передового и новаторского, что творилось с нашей Родиной. Однако история – процесс живой, и неудивительно, что список регулярно автором пересматривался, дополнялся и редактировался. Нередко гордец, еще вчера задиравший нос перед соседями и мнивший, что причислен к отряду классиков, подвигу мучеников и семейству борцов, – нередко такой самонадеянный человек просыпался, брал газету – и на тебе! Нет его имени в истории! Ведь вчера же было! Ан нет, нету! И метался он, бедный, по улицам, заглядывал в киоски, покупал другие экземпляры газет: а вдруг опечатка? Нет, не опечатка – вычеркнули тебя из будущего, баста! И ломал он руки, несчастный, и смотрел опустошенным взором вокруг себя. Конечно, люди, выброшенные из истории, так просто не опускали руки. Существовала т. н. первая редакция списка, которая иными буквоедами почиталась за подлинную, но существовали дополненные и исправленные редакции, что появлялись с регулярностью во всех печатных органах, и люди, попавшие в эти списки, считали подлинными только их. Многие авторы искали общества Первачева в надежде, что их имена появятся в новом варианте «списка». И действительно, если первый список включал в себя всего двадцать семь имен, то второй – уже девяносто, а третий – сто семьдесят шесть. Впрочем, четвертый список оказался урезанным едва ли не втрое, и имен стало всего шестьдесят пять – и примерно это же количество держалось уже года полтора. Некоторые мастера едва не получили инфаркт – так их пошвыряло по истории перо Первачева. Скажем, Дутова, не включенного в первый список, Первачев все же счел возможным внести во второй, однако в третьем пометил специальной звездочкой кандидата. Дутов перестал здороваться с Первачевым. Сам Первачев, переживающий свою миссию болезненно, старался ни с кем особенно не сближаться и не давать пустых обещаний. Протягивая руку при знакомстве, он обычно говорил: «Можете не представляться, у меня крайне плохая память на имена». Он опубликовал последний, пересмотренный и наново выверенный список, предварив его краткой и безжалостной заметкой под названием «В будущее возьмут не всех», и кое-кому солоно пришлось от этой заметки. И если считать этот вклад в культурное самосознание нации – менеджментом, то здесь налицо менеджмент весьма высокого уровня. Возможен, разумеется, менеджмент и наивысшего уровня – уровня истори-

ческого. Если подумать и разобраться, то не это ли самое и случилось с нашей бессмысленной Родиной, то есть не стала ли она просто-напросто жертвой исторического менеджмента? В некотором смысле она оказалась в один прекрасный день вычеркнутой из наиболее авторитетного списка – из истории. Если представить себе, что некий небесный Первачев сидит на облаке и корректирует свои записки, то отчего же не вообразить, что однажды, посмотрев вниз, он не пришел к выводу, что Россию пора вычеркивать? Довольно, решил этот небесный Первачев, довольно терпел мир это странное никчемное образование. В будущее возьмут не всех, это очевидно, и уж во всяком случае Россию в будущее, то есть туда, где встретятся люди почтенные, владельцы солидных акций, – в такое будущее никто брать Россию не собирался.

Возможна, впрочем, иная, более прикладная трактовка менеджмента.

VII

Скажем, художник Сыч продолжал с неумолимой регулярностью устраивать перформансы с хорьком, то есть публично насиловать животное. Но самый акт насилия над животным значил бы крайне мало без его интерпретации, толкования, без того, чтобы кто-то занимался организацией представлений, общением с прессой и т. п. Роза Кранц сумела употребить свое влияние и внедрить творчество Сыча в культурную жизнь столицы. Акт совершался теперь на сцене Политехнического музея, там, где некогда читал стихи молодой Маяковский, и представление неизменно собирало полный зал. Билеты продавались в театральных кассах по цене хорошей оперы в Большом, а перекупщики перед началом представления требовали аж тройную цену. Словом, дела шли, и недурно, надо сказать, шли.

Удручало одно: постепенно хорек привык к регулярному насилию и даже, судя по некоторым признакам, стал получать удовольствие. Во всяком случае, он, не дожидаясь приказа, сам охотно нырял в сапог, выставив заднюю часть туловища напоказ артисту, и даже призывно вилял задом. Это бы не беда, и, в конце концов, согласие хорька лишь облегчало представление, но распутный зверь перестал выть и царапаться в сапоге и лишь удовлетворенно урчал. Проведя перформанс с таким похотливо похрюкивающим животным, Сыч не мог не отметить, что вместо бурного романтического насилия над природой у него вышел акт обыкновенного скотоложства, да еще с какой-то малосимпатичной тварью. В довершение всего удовлетворенный хорек выскользнул после акта из сапога и лениво улегся у ног художника, вылизывая ему пятки. Яша Шайзенштейн в резкой статье, помещенной в его всегдашней колонке «Ум за разум», буквально разгромил перформанс и даже употребил два раза слово «буржуазность». Сыч, после некоторых раздумий, нашел выход и стал совокупляться с хорьком под фонограмму – при начале акта ассистент включал за сценой запись дикого звериного воя, что придавало представлению драматизма. Критика была положительной, и перформанс доказал свою жизнеспособность.

Роза Кранц, сделавшаяся к тому времени не только критикессой, но и куратором выставок современного искусства, предложила показать этот перформанс в Касселе, на знаменитом форуме художественных инициатив. Надо заметить, что перформанс был встречен на «ура», и прогнозы скептиков, уверявших, что немцы-де не поймут, не подтвердились. Поняли, еще как поняли! Сыч получил главный приз форума и в устроенном по сему случаю бенефисе перформанса решился на некоторое идеологическое заявление. В фонограмму, включавшуюся сразу же после того, как он овладевал хорьком, он добавил фрагменты советского гимна. Отчаянные хрипы, завывания зверя и бодрящая музыка гимна сливались в непереносимую какофонию. Успех превзошел все ожидания. Критик «Frankfurter Allgemeine Zeitung», знаменитый Петер Клауке, тот самый, что издал альбом, посвященный второму авангарду, посвятил «подвал» газеты перформансу с хорьком и, назвав свою статью «Звуки Апокалипсиса», сравнил Сыча с ангелом, трубящим в Судный день. Роза Кранц, вышедшая на сцену немедленно после того,

как вой зверя стих и ассистенты вынесли сапог с хорьком за кулисы, произнесла речь о современности и радикальности в искусстве – и сорвала свою долю оваций. Красные чулки выгодно обрисовывали ее полные ляжки, говорила она по-немецки чисто, почти без акцента, убеждения ее были достойны похвал. «И если вы скажете, – завершила она свою речь, – что перед вами дикари и варвары, – что ж, вы будете недалеко от истины: мы затем и приехали сюда, чтобы вы это узнали. Если же вы скажете, что варварство и дикарство не могут соединиться с культурой и цивилизацией, – что ж, мы сегодня показали вам, что это возможно». Петер Клауке назвал ее валькирией современного художественного процесса и недвусмысленно дал понять, что Кранц входит в десятку наиболее радикальных культуртрегеров мира. «То, что привезла сегодня в Кассель Роза, – писал Клауке, – напоминает нам, что миссия западного мира не закончена. О нет, далеко не закончена! Граница, отделяющая варварство от цивилизации, прозрачна. Граница проходит в самых неожиданных местах – например, между вами и вашим любовным партнером. Возможен ли брак Запада с Востоком? Не станет ли итогом его дикий звериный вой? Или это звук трубы архангела? Вот об этом и спрашивают нас очаровательная валькирия Роза Кранц и отчаянный новатор Анатолий Сыч». Российский «Европейский вестник», перепечатывая статью, добавил от себя и еще ряд комплиментов: Яша Шайзенштейн назвал Розу Жанной д'Арк современного искусства, а Сыча именовал замысловатым термином «культурный разводящий эпохи»; словом, успех был полным. В ресторане «Ностальжи» (а именно там собирались теперь демократические и просвещенные сливки столичного общества) знаменитый Борис Кузин расцеловался с Розой Кранц, весь вечер от нее не отходил, и, по слухам, они и уехали из ресторана вместе. А признание Кузина дорогого стоит.

Нечего и говорить, что Люся Свистоплясова и выбранный ею (в качестве патронируемого художника) гомельский мастер дефекаций сразу отошли на второй план. Тем более что в отличие от перформанса Сыча представление гомельца все время нуждалось в доработках и уточнениях. В самом деле, произвести акт дефекации – это и смело, и злободневно, и хорошо, пусть так. Но где его производить, вот вопрос. Многое зависит от выбора места. Как говорят лондонские риелторы, «*location, location* и еще раз *location*». Скажем, соверши художник этот акт в туалете (выражаясь попросту, испражнись он в унитаз), и это будет уже не искусство, а банальное отправление естественной потребности. Если же, напротив, помянутое действие будет произведено публично (Яша Шайзенштейн называл это «правильным позиционированием перформанса»), испражнение немедленно превращается в высказывание, в жестко артикулированную радикальную концепцию. Так что, где мастеру присесть? – это был далеко не праздный вопрос. В музее – уже было. На Красной площади – да, смело; попробовали и едва не попали в милицию. На вышке бассейна, на сцене театра, на обеденном столе – было опробовано много вариантов. Свистоплясова путем невероятных интриг и усилий добилась выступления своего протеже в Амстердаме, но, как выяснилось, площадка для перформанса была выбрана неудачно – третьеразрядное варьете на окраине города, народу собралось крайне мало, пресса вообще не пришла, а в довершение конфуза художник, объевшийся какой-то дряни накануне, вместо аккуратной кучки экскрементов навалил преогромную отвратительную кучу и наполнил маленький зал зловонием. Представление можно было считать сорванным, и Люся даже демонстративно удалилась за кулисы, но художник, чувствуя провал и видя недовольные гримасы зрителей, повел себя с отчаянностью и упорством провинциала. Случается, что именно упорство человека из глубинки спасает там, где лень столичного жителя заставила бы отступить. Так, непостижимым подвижничеством своим торил пути в науке Циолковский. Как и был, со спущенными штанами, мастер дефекаций выпрямился во весь рост на сцене и принялся швырять в зрительный зал пригоршни кала. Зачерпывая жидкие экскременты прямо из огромной зловонной кучи, наваленной на полу, он с гиканьем метал их в ошалевших голландцев. Менеджер варьете кинулся было остановить художника и получил полную горсть жидкого кала в лицо. Русский мастер выкрикивал ругательства и неостановимо метал испражнения в зал.

Буквально в считанные секунды ему удалось загадить весь партер. Подоспевшая полиция скрутила художника, и его судили, и мгновенно дело из заурядного перформанса переросло в процесс над искусством. Судилище филистеров приговорило художника к трем месяцам тюрьмы за хулиганство и оскорбление морали, и он уже было отправился в узилище, готовый, подобно Чернышевскому, Бакунину, Сахарову, нести наказание за идею, но за него вовремя вступился премьер-министр Голландии. В яркой речи, перепечатанной всеми газетами мира, прогрессивный министр сказал, что ему стыдно за полицейских своей страны, которые хотели заткнуть рот свободному творчеству. Подумать только, говорил министр, что человеку, прошедшему весь ужас тоталитарного режима у себя на родине, едва не пришлось разочароваться в свободном мире! Благодарение Богу, заключил свой спич премьер-министр, у нас в Голландии мы никогда не выдавали ханжество и косность – за мораль. То было как раз время предвыборной кампании, и молодежавый министр по случаю произнесения этой достопамятной речи сфотографировался в обнимку со стриптизершами, что сразу же повысило его рейтинг на 1,7 процента. Люся Свистоплясова не упустила момент, собрала конференцию; она вспомнила стихотворение Маяковского «Нате», некоторые пассажи из Бодлера, офорт Рембрандта с какой-то крестьянкой и даже прочла иностранным журналистам знаменитый ахматовский «Реквием»: «И если заткнуть мой измученный рот, которым орет стомиллионный народ...» Когда она дошла до этих слов, пожилая дама, участница Сопrotивления в годы войны, потерявшая ногу в Аушвице, встала на свое единственное колено и поцеловала гомельскому мастеру руку. Тот хотел было повернуться и подставить задницу, но Свистоплясова удержала его. Довольно – и так уже поражение обернулось победой.

Впрочем, справедливости ради надо отметить, что гомельскому мастеру (читай: самой Люсе Свистоплясовой) все же не удавалось достичь по-настоящему престижных выставочных площадок – Музея современного искусства в Нью-Йорке, франкфуртского Штеделя, Центра Помпиду. Если Сыча уже звали во все упомянутые места и Роза Кранц вступала в кабинеты директоров самых изысканных музеев, то гомельца все-таки старались отжать к периферии. Что было тому причиной? Связи ли Розы Кранц, влияние ли Яши Шайзенштейна, недолюбивавшего гомельского умельца, – кто знает? Свистоплясова поняла, что работы впереди много, действовать надо продуманно, укреплять позиции в обществе, в среде знакомых. А как же иначе?

Художники старались не отстать ни в чем от западных коллег: Осип Стрёмовский наклеивал на холст веревочки и бумажные фантики, а Олег Дутов стелил негрунтованные холсты на пол, лил на них краску из банок, ходил по краске ногами и все пачкал. Его небрежно намалеванные холсты называли дискурсом свободы.

– Вы знаете, – сдавленным голосом рассказывал Рихтер Татарникову, – ну – наляпано. Просто наляпано. Он даже не старается, он, по-моему, просто дегенерат. Даун. Просто клинический даун.

– Знаете, как из дерьма делать сливочное масло? – отвечал Татарников. – Во-первых, надо добиться, чтобы оно стало мазаться на хлеб. А дальше чепуха – только изменить цвет и запах. Так и ваш Дутов. Ведь суть живописи в чем? Со смыслом намазанная краска, не так ли? Краска у него на холст уже мажется. Осталось добавить смысл и форму.

– Но это невозможно, Сережа: если вы сегодня заговорите про смысл и форму, вас перестанут пускать в приличный дом.

– Ох, Господи! Меня всю жизнь в приличные дома не пускают. Хорошо хоть из собственного пока не гонят. Я вот думаю, приличный ли он?

Впрочем, вечером того же дня, пересказывая этот разговор жене, Татарников едва не получил подтверждение статуса своего жилища.

– Алина мне рассказывала, будто выставка Дутова на «ура» прошла в Париже. Хотелось бы, чтобы вас, Сергей Ильич, когда-нибудь позвали в Париж. Сколько лет герр профессор все грозит мне привезти туалеты из Парижа.

– Я, Зоюшка? – ахнул Татарников. – Я и не заикался.

– Успокойся, шучу. Разве можно вас заподозрить, Сергей Ильич? Вы у нас человек кабинетный, что вам по заграницам мотаться. У нас ведь здесь дела: пока всей водки не выпьем – ни за что не уедем. Только зачем Дутову завидовать?

– Кто же завидует? Я?

– Он, по крайней мере, не сидит в кресле и не говорит «если». Работает, зарабатывает, возможно, даже привозит жене туалеты из Парижа. Знаете, Сергей Ильич, есть ведь и такие женщины, которым привозят наряды. А что Дутов работает по-новому (говорят, у него совсем новый стиль) – так ведь старье, герр профессор, никому и не нужно, – и Зоя Тарасовна повела плечами и тряхнула волосами, уходя в свою комнату.

VIII

И правда, новые институты искусств отличались нетерпимостью к старью. А разве возможно иное? В открывшемся Центральном институте современных искусств, ректором которого сделался Леонид Голенищев, были рады любой новации, любой дерзости, смелому полету фантазии, но только не заплесневелому традиционализму. Вот это, уж извините, господа хорошие, у нас не проходит! Голенищев высказался резко: «Кто из абитуриентов заикнется про кисти и палитру – может в институт больше не приходить. Дверь – напротив, попрошу на улицу. Здесь не богадельня. Картина умерла вместе с тоталитаризмом. Это нужно понять раз и навсегда. Все – вопрос закрыт». И не он один придерживался такого мнения. В своих лекциях, прочитанных на семинарах «Открытого общества», авторитетный Питер Клауке ясно дал понять, что ни к картине, ни к роману (то есть к художественным формам прошлого) возврата быть не может. Вы не были на этих лекциях? Я не могу теперь отвлечься на их пересказ, но, впрочем, идеи Клауке разошлись широко по московским собраниям, наверняка вы где-нибудь слышали их. И потом, лекции его многократно издавались. «Дверь в Европу» вышла специально с подборкой его лекций; спрашивайте у знакомых, выпуск популярный, наверняка его можно достать. Надо подчеркнуть, что идеи Клауке и Голенищева нашли отклик еще и потому, что аудитория была хорошо подготовлена. Повторяя евангельскую притчу, можно сказать, что зерно упало в плодородную почву. Никто из отечественных интеллигентов и ранее не особенно собирался писать картину или роман, им заранее это претило, но сейчас, когда им так убедительно показали, что они инстинктивно, повинувшись художественному чутью, были правы и шли в ногу со временем, – сейчас их стихийная неприязнь подкреплена была знанием. «Плоскость умерла, – говорил Осип Стрёмовский, сидя в кругу единомышленников и качая ногой, – поразительно, что это предчувствовал еще мой отец. Знаете, он ведь был художником, работал в Киеве в те страшные годы!» – «Поразительно, как он уцелел!» – округлял глаза Пинкисевич. «Он ходил буквально по острию ножа. Еще в те годы он отказался от пейзажа, от натюрморта, от тематической картины!» – «Так рисковать!» – «Именно. Он занялся так называемым оформлением парадов – практически занялся инсталляцией, если называть вещи своими именами, – и сами понимаете, к чему это могло привести!» – «Что ж, это позиция». – «По тем временам – самоубийственная позиция. Никогда не знаешь, чего ждать от этой страны». – Осип Стрёмовский всегда вместо слова «Россия» говорил «эта страна».

Павел, посещавший собрания радикальных художников и познакомившийся за эти годы не только с Дутовым, Стрёмовским, Пинкисевичем, но и с их идеологом Голенищевым, пытался спорить. Он говорил примерно так: «Я не отрицаю абстрактное искусство. Некоторые абстрактные картины удивительно красивы. Но скажите, Иосиф Эмильевич, почему де Сталь,

или Поляков, или Кандинский стремились к тому, чтобы картина была красиво выполнена, а теперь даже к этому не стремятся, а все делают очень небрежно? Раньше художник искал красивый цвет, по несколько раз переписывал, добивался гармонии красок, а что теперь? Вот, например, картины Дутова. Они ведь поспешно сделаны, мне кажется, минут за пять-шесть, и все очень некрасивые». – «Видите ли, Павел, – говорил Стремовский, снисходительно качая ногой, – все дело в том, что вы смотрите на картину». – «А как же иначе?» – недоумевал Павел. «Надо глядеть сквозь картину», – и башмак Стремовского победно взмывал вверх, открывая красные носки. «Полно, Осип, – говорил доброжелательно Голенищев, – не смущай ребенка. Лучше научи его. Это, видишь ли, Паша, как в любви. Волей ничего нельзя навязать. Надо стоять долго перед картиной и отдаться ей. Просто стоять и ждать, пока она тобой овладеет» – вот так эти беседы обычно заканчивались. Дома Павел пересказывал эти разговоры отцу. «Он просто шарлатан, этот Голенищев», – говорил отец и кривился, а мать шурилась и ничего не говорила.

Тщетно пытался научиться Павел новой манере разговаривать и понимать искусство. Разговоры меж ним и его учителями делались нелепыми.

- Такого художника – Ле Жикизду – знаешь? – спрашивали его.
- Нет, а он что нарисовал?
- Ну полоски, можно сказать: линии.
- Зачем?
- Самовыражение. Культовый художник.
- Понятно.
- А Сэма Френсиса знаешь?
- Нет. А он кто такой?
- Тоже художник. Американский.
- Культовый?
- Культовый.
- А что рисует?
- Прямые линии.
- Как Ле Жикизду?
- Ну не сказал бы, не сказал бы. У Ле Жикизду они совершенно иные.
- Кривые, что ли?
- Чуть толще, с другим нажимом.
- Тоже самовыражение?
- И еще какое. Можешь мне поверить. МОМА его выставку делал.
- Кто-кто?
- Музей современного искусства в Нью-Йорке.
- Понятно.
- А Дона Каравана?
- Нет.
- Каравана не знаешь?
- Не знаю.
- А художник, между прочим, культовый.
- Да не хочу я про него слышать.
- Тебе обязательно надо знать Каравана.
- Зачем это?
- Если ты хочешь идти в ногу с веком, должен знать.
- Как они мне все надоели.
- Культура надоела?
- При чем здесь культура?

- Это и есть современная культура. Она тебе не нравится. Назад, стало быть, в пещеры?
- Господи, почему же в пещеры?
- Кавару ты хоть знаешь? Художник мейнстримный.
- И культовый, полагаю.
- Для своего поколения, безусловно.
- А для кого-то, значит, – нет?
- В любом случае это – мейнстрим.
- Интересно, всякий культовый художник – мейнстримный? И всякий ли мейнстримный – обязательно культовый?
- По-моему, всякий мейнстримный – обязательно культовый.
- Точно?
- Думаю, да.
- Я тоже так думаю.

Но думал Павел о совершенно ином. Он думал о том, почему получилось так, что самое передовое, просвещенное общество, то самое, которое победило сегодня в мире, которое, в частности, победило и его отсталую страну, и теперь его страна равняется на вкусы этого передового общества, – почему это передовое общество нуждается в таком странном искусстве: в палочках, в черточках? Как так получилось, что надежды человечества (а ведь очевидно, что последней редакцией этих надежд стало современное капиталистическое общество) связались с маловразумительным абстрактным творчеством, а не с Микеланджело, не с Брейгелем – то есть не с тем, что имеет явную форму, а с тем, что явной формы не имеет? Это ведь простой вопрос – и ответ на него должен быть прост. Значит ли это, что надежды и само будущее – бесформенны? Надо ли считать, что эти черточки и палочки – прямо продолжают Микеланджело и Брейгеля? Почему именно то общество, которое может себе позволить любить все, что угодно, может выбирать из многого, может определить вкус и моду, как захочет, – почему оно захотело, чтобы его идеалы выражались черточками и палочками? И если это есть адекватное выражение идеалов, то, может быть, общество не так уж хорошо? Он спрашивал себя, что мог бы сделать он сам, как мог бы он передать происходящее на улицах, то, что говорят в телевизоре, – как, какими линиями и черточками надо это нарисовать. Есть ли у этого мира форма? Есть ли форма у идеала? Подчиняется ли идея закону пластики?

IX

Этот вопрос, способный украсить ранние сократовские беседы, был тем более актуален в России, что чем ближе общество приближалось к идеалам свободы, тем вульгарнее делались некоторые его черты. Страна наполнилась беспризорными детьми и нищими стариками. Больницы, вокзалы, переходы метро заполнились отвратительного вида стариками и старухами – неопрятными, больными, грубыми. Вульгарные тетки, закутанные в какие-то отвратительные тряпки, сидели у дверей богатых магазинов, и швейцары гнали их прочь, а те, пройдя пять шагов, снова усаживались и тянули к прохожим нечистые руки. И даже пристойные с виду пенсионеры, те, которых можно было бы принять за учителей или врачей, даже и такие не стесняясь кланчили подаяния. Поговаривали, что это широко организованный бизнес и где-то существует хозяин всех этих попрошаек, этакий Питчем, посылающий их на промысел. Так что нечего особо волноваться и переживать – это не трагедия, а напротив: знак капитализации общества. Этой точки зрения придерживался, в частности, экономист Владислав Тушинский. Он объяснил все просто – в капитализированном обществе старики ищут свою нишу для предпринимательства. Эта ниша – не самая плохая. Все к лучшему. Но разговоры разговорами, а нищих стало уж как-то чересчур много, и, пожалуй, никакому Питчему было бы с ними не управиться. Да и потом, зачем бы старикам идти в нищие, если все так хорошо? Неужели

нельзя найти какую-то другую экономическую нишу, поспокойнее, потеплее? Неужели охота стыннуть на ветру и тянуть руку? Так ведь и околеть от холода недолго. У нас, чай, не Неаполь, на улице не засидишься.

Да, вынуждены были подтвердить даже самые ярые adeпты происходящего, старикам нынче приходится несладко: дело в том, что трудно, объективно трудно им встроиться в новые порядки, переучить себя на новый лад. Да, страна не может на этом переходном этапе обеспечить своим престарелым гражданам тот уход, на который они, может быть, и рассчитывали, надо с этим согласиться. Ну не может, и все. Не справляется государство с этой задачей – у него, у государства, эвон как много дел: инфляция, внутренние войны, внешние долги, границы трещат – везде не успеешь. И так крутимся как белки в колесе, а тут еще старики. Не много ли для одного государства? Как по-вашему? То-то и оно, что многовато. Так что пусть старики потерпят, они, если разобраться, свое пожили. И потом – чтобы уж совсем честно, – не кажется ли вам, что старики, как бы это выразиться, агенты той, старой, социалистической системы? При переходе в новый мир, может быть, жестоко, но логично избавиться от таких агентов. И, вынуждены были добавить adeпты происходящего, не все так гладко с молодежью. А все почему? Да опять-таки по совершенно объективным причинам. Так получается сейчас оттого, что бывшие институты воспитания молодежи, как то: пионерия, комсомол и т. п., были идеологизированы, и нам пришлось от них отказаться. Как же иначе? Прикажете, что ли, сохранять эти рассадники коммунистической заразы? Надо ли удивляться, что подростки, оставшись без привычных клубов, кинулись в криминальные структуры (так уважительно именовали телеведущие бандитов и воров)? Ну пусть в криминальные структуры, допустим. Разве у этого явления есть только негативные стороны? Не надо ханжества. Разве не очевидно то, что молодежь приобретает деловые навыки, вкус к менеджменту, управленческую хватку?

На это иные малoverы возражали так. Если государство не в состоянии заботиться о своих стариках и детях, то зачем оно вообще нужно? Разве государство образуется для чего-то иного, кроме этих целей? Для чего тогда иметь армию, охранять границы и т. п., если внутри этих границ нельзя прокормить стариков и воспитать детей? Люди собираются в группы, а группы в общество, а общество объявляет себя государством с одним лишь намерением: дать старикам покой в старости и оградить детей от бед. Защитить достоинство старых и привить понятие о чести детям – вот зачем государство нужно. А если бы не эти цели, почему бы людям не остаться одинокими охотниками? Для чего тогда вообще флаг, герб, гимн и прочая чепуха?

Им на это отвечали: вы все-таки полегче. Не надо так уж сплеча, огульно. Ну не все гладко, да, не все. А что, раньше было глаже? Обратнo к Брежневу захотели? Чтобы дети на пионерлинейку строились, здравницы дедушке Ленину наизусть учили, салют саркофагу отдавали, металлолом собирали по дворам? (Владислав Тушинский неизменно поминал в таких беседах узбекских школьников, принудительно собиравших хлопок. Сам Тушинский в Узбекистане не бывал, хлопковых плантаций не видел, но читал в одной из речей Сахарова, что дети Узбекистана сильно страдали на плантациях.)

А малoverы не унимались, они, неблагодарные твари, тыкали пальцами в витрины богатых магазинов и ресторанов и голосили: да что это такое! Ведь за день проедают столько, сколько старикам и за год не получить! Вы посмотрите – сколько этих магазинов: ювелирные, мебельные, модные, винные, – и ведь не войдешь, швейцар не пустит! А войдешь, что толку? Постоишь, рот пооткрываешь, зубами пощелкаешь. Это нормально, да? Да если бы все эти деньги, потраченные на излишества, собрать – да и истратить на бесплатные больницы и приюты, на ясли и санатории; ведь сколько добра можно было бы сделать!

Позвольте, отвечали люди последовательные, но город-то стал лучше, разве нет? Давайте честно: ведь стало наряднее? Разве вашим детям и старикам неприятно смотреть по сторонам, любоваться иллюминацией, красивыми витринами? Признайтесь, ведь город-то цветет!

И действительно, в считанные годы Москва несказанно похорошела: повсюду открылись сверхмодные магазины, каких и в Париже-то не сыщешь, а ювелирных лавок стало больше, чем булочных. Модные дизайнеры, молодые архитекторы, прогрессивно мыслящие декораторы оформляли интерьеры салонов и бутиков в наиновейшем духе. Роскошь соседствовала здесь с демократической простотой – мрамор и золото на фоне простой кирпичной кладки, изысканная ткань и драгоценности, выложенные на грубый стальной лист. Роскошь и богатство подавали небрежно, будто играя. Умели, умели в новой Москве следить за модой! Не так себе, провинциальный шик, отнюдь нет! Сами парижане, сами ньюйоркеры признавали: город растет небывалый, с размахом, со вкусом делают дела российские демократы. И в самом деле, именно они, новые российские прогрессисты, экономисты новой волны, парламентарии, министры, депутаты – стали законодателями мод. Так, лидер так называемых правых сил (то есть по российским понятиям – самый главный западник и либерал) Владислав Тушинский стал завсегдатаем художественной галереи, где Сыч обычно давал представление с хорьком; его коллега, вице-спикер Думы, дама на редкость изящная, сделалась образцом не только убеждений, но и хорошего вкуса: ее пикантные фото украшали обложки журналов, а плакат, на котором она, в вечернем открытом туалете, поднимала бокал Асти Спуманте и говорила: «За вашу и нашу победу!» – встречал гостей Москвы при въезде в город. Словом, кривиться на рестораны и бутики можно было сколько угодно, но не признать, что в столице появился столичный лоск, было трудно. Именно это маловерам и говорили люди последовательные.

Говорили они примерно так (здесь надо попутно отметить, что русская речь за несколько лет впустила в себя очередную порцию латинизмов – что, в конце концов, только закономерно): вы ностальгируете по-прошлому? Но весь просвещенный мир движется в том направлении, куда сейчас пошли и мы. Быть маргиналом и ностальгировать – не значит ли это идти против прогресса? Бутики, рестораны и салоны, отели и конференц-холлы суть инфраструктура современного демократического социума. Мы должны ее инсталлировать, как и прочие, чтобы генеральные концепции коммуникаций (а в том числе и консьюмизм, извините, это тоже коммуникация) стали нашими правилами. Иначе как? Мир стал глобальным, хотите вы этого или нет. И надо принять его законы, если вы, конечно, не хотите плестись в арьергарде мирового сообщества, с Африкой рука об руку. К прошлому возврата не будет, так и знайте. И если у вас зуб щелкает на дорогие цены, так вы лучше работайте побольше и денежек накопите, а не нойте. Так-то.

А люди, те, что растерялись, не нашли себя, они все нудили одно и то же. Почему непременно мир должен быть прав? Так уж от века повелось, убеждали их, мир не ошибается. А они все твердили свое, прямо-таки с гамлетовским запалом: мир, дескать, расшатался. Весь мир (и это ведь только говорится так: весь, хотя это и неправда, далеко не весь: разве посчитали все индийские княжества или африканские племена?) объявил некое направление верным – ну и что? Даже если мир и идет весь куда-то, что это доказывает? Может быть, он зря это делает, напрасно туда идет. Ведь бывали времена, когда весь мир шел в одном направлении – и в нехорошем направлении. Например, в тридцатые годы. Кто я-то в этом мировом движении? Я-то кто? Мне место есть? Тварь дрожащая или право имею? Нет, не тварь я более, во всяком случае, все мне теперь твердят, что я не тварь, но и прав особых у меня нет. Какие такие права? Не прибавилось никаких.

А им говорили в ответ: как это не тварь, когда именно тварь. А кто же ты еще? Тварь и есть. Не очень-то ободряйся на свой счет. Но зато теперь – ты тварь с правами. И не сомневайся – права твои дорогого стоят. Например, ты гарантирован от того, что возродится коммунистический режим. Тебе не угрожает холокост. Мы спасли тебя, неблагодарного ублюдка, от сталинских лагерей. Поди плохо. Так что жалуешься? И потом: не забывай, что главное сегодня – ломать, а не строить. Пришло время разбрасывать камни, а если тебе заехали камнем по лбу, не скули – это для твоего же блага.

Постмодернизм (читай: сведение счетов с утопиями и проектами модернизма) продолжал господствовать в умах и настроениях. Граждане, вернее, те из них, кого можно было причислить к интеллигенции, упивались терминами «рефлексия» и «деструкция». Некоторые из них, однако, термины эти рассматривали лишь в связи с искусствами и культурными дисциплинами или, как они тогда выражались, в «интеллектуальном дискурсе». По недомыслию они не связывали принцип деструкции с развалом Советского Союза, с бойней в Чечне, с бомбардировками Сербии и т. п. Или, допустим, никто не проводил параллели между упадком отечественной промышленности и концепциями французских свободолобцев. Интеллигенты не могли пройти мимо прилавка с книгами Дерриды или Делеза, чтоб не прикупить новинку, не повздыхать, не умилиться полету мысли, но, напротив, они подчас кривились на новости в телепрограммах – и это было не слишком логично: и там, и там рассказывали примерно про одно и то же. Так, в прошлые, советские, годы интеллигенты умудрялись любить Малевича, но не испытывать схожих чувств к Дзержинскому. Им нравились Родченко и Лисицкий, а вот Ежова или Ягоду они не жаловали. И никто не видел в том противоречия. Как можно любить принцип деструкции и не радоваться его буквальному воплощению – понять довольно трудно. Но понимать и не требовалось – требовалось рефлексировать, а это все-таки не одно и то же. Рефлексия, она ведь не есть буквально мышление, ошибка отождествлять эти понятия. Рефлексия относится к мышлению примерно так же, как бодибилдинг – к занятиям штангой, то есть как свободный досуг – к спорту.

Но главное, главное достижение было налицо – страна вошла в сообщество цивилизованных народов. Теперь бы еще привить цивилизованное сознание – и дело в шляпе.

Герман Федорович Басманов, президент «Открытого общества» (филантропического института, учрежденного на посрамление тоталитарных концепций), даже провел по сему случаю ряд конференций в далеких российских городах. Там как раз начались неполадки с электричеством, кое-где отключили отопление, словом, бытовые неурядицы отвлекали людей от главного переживания – от ощущения свободы. И требовалось показать им, что завоевания демократии значительно важнее перебоев с топливом. Так, с обсуждением темы «Возможен ли холокост сегодня» докладчики вылетели во Владивосток (город как раз затопило, и незначительные жертвы наводнения потеснили в городских сплетнях даже такие события, как выход собрания сочинений Савелия Бештау). Доклады на тему холокоста, во всей больной актуальности своей, были прочитаны во Владивостокском университете лучшими ораторами, цветом столичной интеллигенции. Борис Кузин, отец Павлинов и другие раскрыли глаза коренного населения края на все преимущества теперешней демократии, которая не допустит гибели невинных евреев в печах Аушвица. Раскосые граждане улыбались и кивали. «И ведь поняли, все поняли», – умилялся отец Николай.

Х

К этому же времени относится и попытка вновь найти российскую идею, такую идею, которая объединила бы всех граждан – от бродяг на вокзалах до владельцев алюминиевых карьеров. Даже сильно пьющий президент вдруг почувствовал с похмелья дефицит так называемой национальной идеи. «Ну шта? – сказал он в обычной своей манере Ивану Михайловичу. – Совсем, панимаешш, идеи у нации не стало? Это шта ж, панимаешш, такое?» – «Работаем над вопросом, – отвечал Однорукий Двuruшник, – здесь нужен мозговой штурм. Соберем кворум или форум, молодежь у нас толковая, думающая». – «Ну, смотри», – успокоился президент, налил стакан и задумался. Он думал о России, о том, что ее, многострадальную, надо беречь. Он также думал о том, что до полудня напиваться не стоит – предстоит встреча с деловыми кругами Запада: «Бритиш Петролеум», «Сименс». Надо подписать ряд концессий: то продать,

это сдать в аренду лет на сто. Делаем, панимаешш, дело, работаем, панимаешш. Бизнес, панимаешш.

Президент работал, и, справедливости ради, работал не он один – каждый трудился, как умел. Ведь требовалось что? Хорошо продать. И продавали. В республиках, отложившихся от России и обретших независимость, русское население организовало свой доход тем, что стало торговать военными орденами бывшего Советского Союза; товар был тем привлекательнее, что, как правило, ордена эти были выданы именно за завоевание той земли, где ныне они и продавались. Недурно шла торговля в Эстонии и Литве, весьма бойко в Латвии, но наиболее прибыльным местом, разумеется, оказался Берлин. Вдоль Курфюрстендамм протянулись прилавки, где предприимчивые молодые люди предлагали немецким бюргерам ордена Славы, медали «За взятие Берлина», партбилеты советских офицеров, некогда завоевавших германскую столицу. Если партбилет был пробит пулей, что иногда случалось, он ценился втридорога и сбыть его делалось проще. Медаль «За взятие Берлина» тоже шла недурно, а вот с орденами Славы не все было гладко – кому нужна была слава?

Торговля несколько оживилась в дни, когда первый русский Президент подписал приказ о выводе российских войск из Германии. Он и сам прилетел на торжества – постоять с канцлером на трибуне, выпить шнапса, послушать маршевую музыку. Он стоял, подбочась, и смотрел, как колонны российских солдат маршируют вдоль проспекта. Его друг Гельмут обнимал его за плечи, светило солнце, чеканили шаг полки, словом, все шло как нельзя лучше. Толпа ликовала, люди стояли вдоль дороги и били в ладоши; среди собравшихся стоял и Гриша Гузкин, одетый по берлинской моде в черное. Гриша умиленно смотрел, как на его глазах творилась история, и вместе с другими хлопал в ладоши.

Выходили российские войска, выходили бесславно, выходили с позором, возвращаясь из некогда завоеванной земли врага, земли, которая стала теперь богатой и тучной, которая стала теперь образцом для их собственной земли. Некогда эту побежденную страну хотели подчинить и проучить – а вышло наоборот: она подчинила и проучила победителей. Войска возвращались к себе домой, в страну, которая победила в войне, но затем пришла в негодность, они возвращались к своим полуразрушенным домам, к неухоженным полям, к разворванной стране, к бедности и бессмысленности существования. Войска выходили из Берлина, из города, который когда-то брали штурмом, слепя его прожекторами, а теперь он сам сверкал иллюминацией и фейерверками и слепил уходящих солдат. Выходили из города, где за каждый сантиметр дороги, за каждый угол дома было заплачено русской кровью, а теперь правители Германии дали веселому правителю России несколько миллионов марок, и вышло, что литр крови стоил дешевле пфеннига. Выходили из города, откуда Гитлер приговаривал к уничтожению их отцов и матерей, а нынче отсюда добрые бюргеры слали русским бездомным посылки: кружок колбаски, колготки, леденцы. Выходили из города, отнявшего жизни у миллионов их соотечественников, города, некогда покоренного, а теперь – покорившего их. И они, победители, строились в колонны и покидали город под звуки немецкого оркестра. Так когда-то их отцы, солдаты Второго Белорусского фронта, входили в город под музыку, если уцелел при штурме какой трубач или барабанщик и если было на чем играть. А теперь звучала удалая немецкая музыка, и войска выметались прочь, прочь, назад – в свою гнилую нору, к своему разбитому корыту.

Колонны пленных немцев, те, что прошли в сорок пятом через Москву, шли в молчании – никто в тот день не играл победных маршей. Теперь же колонны русских победителей выходили из города, и немецкий город, глядя в их серые спины, пел и веселился, и праздновал победу. И играл оркестр, и дирижер, немец с пробором на светло-русой голове, аккуратно взмахивал палочкой. Пьяный, как и обычно с утра, краснощекий правитель России стоял в обнимку с немецким канцлером и икал. Канцлер бубнил ему что-то в ухо, переводчик талдычил в другое, в голове мутилось, но музыка была приятная – громкая и веселая, как он любил.

И тогда пьяненький президент России, взиравший с трибуны на позор своей страны и умиленно вытирающий пьяные слезы, восхитился красотой и историзмом момента. Ему захотелось сделать что-нибудь знаменательное, историческое, произвести жест, который остался бы в веках как символ широкой русской души. Хорошо было бы сказать какую-нибудь историческую фразу, но он не мог придумать, какую бы такую ляпнуть, и потом от выпитого он все время икал. Тогда он, пошатываясь, спустился с трибуны, навалился на немецкого дирижера и отнял у того палочку. Он сам встал к дирижерскому пульта, и все народы мира, глядевшие на пьяного дурня в экран телевизора, ахнули: неужто он сам будет исполнять отходную своей стране? А президент, красный, как Кремлевская стена, и бессмысленный, как боров на бойне, улыбнулся во весь золотозубый рот и взмахнул рукой. Не чопорным немецким жестом, а по-нашему, по-русски, наотмашь, так, чтобы летела песня, чтобы гремел оркестр, чтобы опрোметью катились русские войска восвояси, к себе домой. Теперь, почудилось ему, он сам управлял всем действием, а значит, фактически управлял историей. И пьяный дурак, крупный немолодой мужчина, нелепый и тяжелый, как сама Россия, принялся дирижировать немецким оркестром. Он приплясывал, размахивал палочкой и подпевал немецким словам, а мимо него маршировали русские батальоны, убираясь прочь из немецкой земли. Они шли и шли прочь, а русский правитель, пьяный и красный, плясал с дирижерской палочкой в руках, и немецкие тромбонисты надували щеки, и гремел, гремел, гремел немецкий марш.

7

Есть выражение «рисунок – основа живописи». Для того чтобы научиться писать красками, надо понять, что это выражение значит.

Один из классических рецептов предлагает начинать картину с гризайли (композиции, выполненной в монохромной тональности) – то есть с рисунка. Для гризайли используют три краски – натуральную умбру (реже «слоновую кость»), охру и белила, таким образом, гризайль напоминает рисунок сепией или тушью, и можно сказать, что под многокрасочным слоем краски лежит рисунок. Можно сказать, что, выполняя гризайль, художник создает скелет для живописи, остов, который затем обрстет плотью. Считается, чем прочнее скелет, иначе говоря, чем яснее рисунок, тем увереннее живопись, тем свободнее кровь циркулирует по жилам произведения. Сказанное выше – распространенный взгляд, но не бесспорный. Можно многое возразить.

Прежде всего, данный метод не универсален. Можно идти не от костей к мясу, но от мяса к костям. Если описанный подход и верен в отношении флорентийской школы, и в особенности болонской, то, например, венецианцы выполняли имприматуру не монохромными тонами, но, напротив – яркими красками и впоследствии как бы гасили их более темными лессировками. Именно лессировками они прорабатывали форму, а первый слой был лишь эманацией колорита, ничем не скованным движением цвета. Можно вспомнить и о тех живописцах, что не прибегали к предварительному рисунку по холсту. Многие не делали даже и карандашных набросков будущей картины, а просто начинали работу с цветного мазка. Так, например, неизвестны эскизы к картинам Рембрандта. То, что он любил рисовать, доказано его офортами, но живописью он занимался без предварительных набросков. Существуют ли наброски Гойи – превосходного рисовальщика – к его полотнам? Мало кто усомнится, что Домье был великий график, но графика его существует параллельно живописи: одно не объясняет другое. И где же, скажите, рисунки Эль Греко? Разве там, в первых слоях его работ, мы сыщем лекало, по которому он распределял цвет? Вряд ли. В контексте сказанного важен пример Сезанна, который начинал всякую картину как эскиз себя самой и постепенно из стадии наброска переводил ее в картину. Картина строит себя сама: цвет сам отыскивает свою форму; форма сама заявляет права на особенный цвет. Сохранилась фраза, которой Сезанн описывал свой метод:

«По мере того, как пишешь – рисуешь». Эта фраза выражает наиболее существенный закон творчества: не существует никакого умения, независимого от другого умения, не может быть никакого действия, произведенного вне других действий. Напротив того: все свойства художника однородны. Трудно вообразить художника, обладающего пластическим даром Микеланджело и колористическими пристрастиями Рейсдаля. Это невозможно хотя бы потому, что голландская валерная живопись не даст раскрыться рисунку, тяготеющему к круглой скульптуре, она такой рисунок задушит, или он, не подчинившись, такую живопись разорвет. История знает много грустных примеров, когда чуждую органике культуры школу рисунка насаждали насильственно – выходила дрянь. Так болонский академизм породил манерную русскую живопись XVIII века. Всякий живописец рисует ровно так, как ему потребно, не лучше и не хуже. Если рисунок неинтересен и вял, можно не сомневаться – такая же будет и живопись; верно и обратное.

Рисунок и живопись связаны меж собой так же, как в любом событии связаны план и воплощение плана. Разбирая совершенное действие, невозможно знать, существует ли его план отдельно: ведь он уже внутри события и неотторжим от него. Цвет – вещь органическая, он присутствует везде. Все вокруг художника наполнено цветом, его собственным цветом или цветом его культуры, мир – цветной. Отдельно взятого рисунка – то есть черно-белого плана существования – в природе нет; рисунок – это самая абстрактная абстракция. Возможно, приблизительные контурные наброски и лежали на столе у Бога, но это доподлинно неизвестно. Каждому художнику приходится проверять этот факт опытным путем.

Глава 7

Прорыв в цивилизацию

I

Прямо в берлинском аэропорту Гузкин дал интервью.

– Вы думаете, что силы реакции победят? – спросила немка, одетая бедным мальчиком. Гузкин пригладил бородку, скорбно сощурился и признался, что, увы, не исключает такой возможности. Не может совсем исключить. Ситуация сложилась тяжелая.

– А велик ли процент людей, приветствующих реформы в России?

И здесь Гузкин должен был с сожалением констатировать, что процент этот, как ни горько сознавать, ничтожно мал. Интеллигенция, да, пожалуй, творческая интеллигенция – вот и всё.

– Но именно творческую интеллигенцию и выдавливают из страны, не так ли?

– И так было, к сожалению, всегда, – закручинился Гриша Гузкин. – Шагал, Кандинский, Бродский, Ростропович. Этот скорбный список изгнанников можно длить бесконечно.

– Можно ли сказать, что ваш талант – причина вашего изгнания? – и карандаш завис над блокнотом.

– Зачем России талантливый человек? – горько сказал Гузкин. – Страна гонит таких прочь!

– Как я слышала, в двадцать первом году Ленин выслал всех философов. Погрузил мыслящих людей России на пароход – и отправил в Европу. Вероятно, трагедия такого масштаба не прошла для страны бесследно.

Гузкин покивал. Он ничего не слышал об этом пароходе, предполагал, что журналистка путает, но на всякий случай промолчал. Зачем бы Ленину тратиться на пароход и отпускать философов в плавание? Почему не отправить в Сибирь? И главное – зачем делать врагам хорошо? Ведь эмиграция в Европу – это же хорошо? Что-то не складывалось в этой истории.

– Но есть ли надежда на возрождение России? После семидесяти лет коммунизма? – попытывалась немка, чей отец в сорок третьем бомбил Ленинград.

– О да, – сказал Гузкин, – надежда есть. Но примите во внимание семьдесят лет деструкции. – Он вовремя спохватился, что слово «деструкция» в свете теорий постмодернизма скорее имеет положительное значение, и поправился: – Семьдесят лет лжи, террора, тоталитаризма. Это наложило свой отпечаток. Неизгладимый, – добавил он для верности.

– Но ведь русские – способная нация, не так ли?

– Ах, не надо преувеличивать способности нации! Я не сторонник русского шовинизма.

– Значит, вы – не патриот?

– Патриотизм, как хорошо сказал Лев Толстой, и я присоединяюсь к его мнению, – заметил Гриша Гузкин, – есть последнее прибежище негодяев. Я презираю пороки своей Родины, я стыжусь за Россию, мне отвратительна страна, которая семьдесят лет прожила в рабстве и сейчас не нашла в себе сил идти вместе с цивилизованным человечеством.

– Если я правильно поняла вас, – сказала немка, – вы руководствуетесь в своем творчестве не национальными приоритетами, а так называемыми абстрактными гуманистическими ценностями, то есть теми ценностями, которые традиционно преследовались в России. Вы скорее – космополит, не так ли?

– Я – гражданин мира, – сказал Гузкин с достоинством.

– Вы не боитесь, что вас станут называть клеветником, как проделывали это с Сахаровым и Солженицыным?

– Что ж, к шельмованию мне не привыкать. Мои картины запрещали, я всю жизнь жил в ожидании ареста. Но я не умею любить свою Родину с зажатым ртом и стоя на коленях.

II

Статья в «Тагесблат» «Чаадаев – Солженицын – Гузкин» вышла одновременно с тем, как реакция в Москве уступила демократии, путч провалился, и в России воцарилась веселая власть первого Президента. Разрешили рушить Россию и дальше, и народ ликовал по этому поводу.

Владислав Тушинский и Борис Кузин салютовали друг другу шампанским в Москве; поднял бокал мозельского в берлинском ресторане и Гриша Гузкин. И за демократию было приятно выпить, да и у него самого дела складывались тоже неплохо. Что бы там ни говорили про немецкую скуку и пуританскую тоску, про серые прусские денечки, а Берлин весьма неплох. Гостеприимный город, ласковый. Муниципалитет Берлина успел в считанные часы путча предоставить Грише как политическому беженцу квартиру в уютном районе Вильмерсдорф, окнами в парк. Пока реакционеры в Белокаменной грозили дулами орудий свободолюбивым фантазерам, Гриша Гузкин посещал скучные, но полезные кабинеты, встречался с нудными, но практичными людьми. Конечно, бюрократы – они бюрократы везде, и порой Гриша чувствовал, что прусский педантизм еще отвратительнее русского разгильдяйства. Его выспрашивали буквально обо всем – а к вечеру едва не довели до сердечного приступа. Чиновник, косясь на Гришу сквозь узкие стеклышки очков, поинтересовался, не еврей ли Гузкин. У Гриши затряслись руки. «Какое это имеет значение! – выкрикнул он, и неожиданно немецкие слова, плохо заученные в школе, стали отливаться в предложения – *Das spielt keine Rolle!* Какая разница! Я – инакомыслящий, диссидент. Человек я, слышите, просто человек! Какая разница – еврей или нет? Понимаете меня? *Mensch! Mensch!*» – «Ah, so, – сказал скучный очкарик, – а то я вам собирался выписать дополнительную социальную поддержку, еще пятьсот марок». – «А что, по фамилии не видно, что я – еврей?» – вывернулся Гузкин. Чиновник выписал еще пятьсот марок, и бумажки с портретом антисемита Лютера хрустели в гузкинских руках. Не подвели, не подвели немецкие бюрократы. Через пять-шесть часов сочувственных переговоров в кармане его нового замшевого пиджака звякала связка новеньких ключей. Фазаненштрассе, на которой поселился Гриша Гузкин, славилась тем, что когда-то на ней жил Генрих Манн, и Гриша, прогуливаясь под каштанами, думал о преемственности культуры, о том, что вот нынче он, Гриша Гузкин, гуляет здесь, а прежде прогуливался Манн, и кто знает, что будет здесь в дальнейшем. Кто перехватит эту эстафетную палочку, кто понесет огонь Прометея под цветущими каштанами? Биография творческих людей непредсказуема: искусство само чертит свои пути, само выбирает своих жрецов. Выбор сегодня пал на него, ну что ж, он ведь много работал. Картины его оценили, его гражданский пафос приветствовали, его, как борца с коммунистическим режимом, хвалили. И разве он этого не заслужил? Разве он трудом своим не заработал этих минут отдыха, этих каштанов в цвету? Гриша повторил про себя цветаевскую строку «за этот ад, за этот бред – даруй мне сад на старость лет». А ведь я еще и не стар, подумал он. Еще много сумею сделать, хорошо, что теперь есть возможность работать, это здорово, что оценили. Гузкин получил приглашения сразу в шесть музеев Германии. И путешествия его были приятны и полезны.

В Дюссельдорфе, например, его поселили в гостинице, где в номер к нему утром вкатили столик с завтраком – свежавыжатый сок, яйца всмятку, настоящий кофе; Гриша пил кофе в халате и с утренней газетой, будто он герой фильма. Немецкий язык давался легко, и фразу «какой нуммер у моего циммера?» портье понял легко. О, с просвещенными людьми можно найти общий язык. В полдень за ним зашел директор знаменитого дюссельдорфского Кунстхалле, того самого музея, где когда-то выставлялся легендарный Йозеф Бойс, кумир прогрес-

сивной молодежи. Да-да, именно Бойс, герой авангардного искусства, который мазал живого зайца медом и драпировал мешковиной пианино, тот самый Йозеф Бойс, который говорил юношам, желавшим приобщиться к новому искусству: берите топор и рубите картины, – словом, как любил выражаться Леонид Голенищев, радикальная, культовая фигура. И вот теперь Гузкин в том же музее. Гузкин, волнуясь, прошел по залам, постоял подле зачехленного в мешок пианино, поклонился чучелу зайца, намазанному медом.

На обед он был зван домой к директору музея Юргену Фогелю.

III

Юрген был аккуратный господин с гладким лицом и в голубом галстуке; аперитив пили в гостиной, закусывали шерри оливками; сидели на диванах, поставленных вокруг низкого столика. Жены у Юргена Фогеля не имелось, зато в доме присутствовал друг – энергичный господин по имени Оскар и по профессии дантист.

Энергичный господин протянул Гузкину холеную руку и отрекомендовался так:

– Не люблю свое имя, меня должны были назвать Отто, в честь деда. После войны немцы стеснялись своих корней, давали детям французские, испанские, польские имена, лишь бы отмежеваться от прошлого. Возник этот нелепый вариант – впрочем, я привык. Согласитесь: Отто Штрассер – звучало бы вызывающе.

– О да, – согласился Гриша, недоумевая, в чем состоит вызов, – безусловно!

Он осторожно улыбнулся, так, чтобы можно было подумать, что он ценит осмотрительность родителей Оскара, а с другой стороны, слегка посмеивается над ней.

– Живете вместе, в одном доме? – с любопытством спросил Гриша.

– Да, и прекрасно справляемся. Оскар – первоклассный повар.

– Почему не накормить друга, если это не доставляет особых хлопот? Женщины преувеличивают трудности кухни, – сказал Оскар, – к тому же время, проведенное на кухне, я посвящаю музыке: слушаю записи великих исполнителей. Сегодня вы будете есть легкое рыбное блюдо, вдохновленное Дебюсси, а мясное потяжелее – я слушал Рахманинова.

– Оскар – не совсем обычный дантист, – заметил Юрген, – уверяю вас, Гриша, он намного образованнее иного гуманитария. Именно Оскар и научил меня понимать искусство. Поверьте, скоро вы обнаружите, что в нашем обществе врач – фигура вовсе не удаленная от прекрасного.

– Это разумно, когда два холостяка решают жить вместе. Вы давно догадались, что так удобнее? – продолжал Гриша бестактные вопросы.

– Уже десять лет.

– И радуемся каждый день, – добавил Оскар.

– Десять лет! – восхитился Гриша. – Какой исключительный пример дружбы. – Он прикинул, получилось бы прожить с Пинкисевичем десять лет под одной крышей, и отверг эту идею.

Оскар извинился и ушел на кухню дать распоряжения прислуге. В гостиную вошел новый персонаж. Гузкина представили старому сухому человеку с лицом, похожим на раздавленную вафлю – оно сплошь состояло из трещин и морщин; глаза однако смотрели бойко. Старик плеснул себе шерри и устроился в кресле.

– Мой отец приехал провести с нами пару недель. Наконец-то Оскар сможет поговорить о музыке – я в ней профан. Это Гриша Гузкин, крупнейший художник России. Отец, кстати, бывал в России, – сказал Юрген.

– А, вы бывали в России, герр Фогель? Давно ли?

– Да, много лет назад.

– Обязательно поезжайте теперь – там много перемен.

– В России наконец победила демократия, – объяснил Фогель-младший отцу.

– Ah, so. Давно пора. Не знаю, как вы жили раньше, – Фогель-старший нахмурился, – общество показалось мне довольно нецивилизованным.

– Да, вы правы, – горько сказал Гриша Гузкин и деликатно скушал оливку, а косточку положил в пепельницу, – Россия отброшена в своем развитии на много лет назад коммунистической диктатурой.

– Но искусство, – вставил Фогель-сын, – искусство Россию спасет. Как это предсказал Достоевский. Вот Гриша, – объяснил Фогель-сын Фогелю-папе, – Гриша делает по-настоящему радикальное искусство. Он обличает пороки своего отечества.

– Это правильно, – сказал Фогель-старший.

– У Гриши есть полные сарказма полотна. Невозможно смотреть без искреннего смеха на этих фанатичных пионеров. Такие бетонные лица, ха-ха-ха!

– Пионеры, ah so, – сказал старый Фогель.

– Дело не только в пионерах. Пороки общества, – сказал Гриша Гузкин, – к моему великому сожалению, укоренены в нашей истории. Знаете ли вы, как тяжело пробиться свободной мысли через асфальт прошлого.

– Прекрасный образ, Гриша, – сказал Фогель-сын. – Асфальт прошлого. Коммунизм, колхозы, пятилетки, пьянство, антисемитизм...

– Вот, говорят, арийский антисемитизм, – заметил Фогель-отец. – В нас и не было никакого антисемитизма. Никогда!

– Как вы правы, – вежливо поддержал Гузкин, – в русских антисемитизма гораздо больше, чем в немцах. О, как там, в России, развит антисемитизм! Зоологический!

– Ah so! В самом деле?

– О, вы не поверите! У русских комплекс неполноценности по отношению к евреям, и они компенсируют его звериным антисемитизмом.

– Ah so! А здесь совсем не так! Никакого комплекса неполноценности. Вот ни капельки. Kein Tropfchen! У меня, например, никогда не было.

– Вы же цивилизованный человек, европеец.

– Ja, ja. Но я, например, воевал на Восточном фронте. Пришлось.

– Что ж, вы – солдат, – вступился Гузкин за честь немецкого мундира, – что делать? У вас не было выбора. Я уважаю в вас честного противника, – вежливо сказал Гриша.

– Да, я просто солдат, – подтвердил старый фашист, – сам приказов не отдавал, кстати, я за всю войну и еврея-то ни одного не видел. Какой же может быть антисемитизм, если я евреев не видел? Нет, был один случай – на Украине, мы стояли недалеко от Винницы, Winnitza, richtig? – фашист мечтательно поднял взгляд к потолку, предаваясь воспоминаниям. – И мимо нас провели колонну каких-то людей. Утром было дело. Морозное утро, вообще, страшно холодная была зима. Der Opa Frost! Как вы живете в таком климате?

– Ужасный климат. – Гузкин развел руками. Ему неловко было за российскую погоду.

– Ja. Ja-ja. Значит, шла колонна. Я помню еще спросил, кого ведут. Мне сказали, что евреев. Но куда они шли, зачем? Lieber Gott, я не имею никакого понятия.

В гостиную вошел Оскар и, прервав паузу (а Гриша не нашелся, что сказать), проводил к диванам новых гостей. Гости расселись, им разнесли шерри, и они стали кушать оливки. Гриша подумал, что не стоит есть так много оливок: хорошо бы сохранить силы и на обед – из-за дверей в столовую тем временем неслись головокружительные запахи, там накрывали на стол, и Оскар, видимо, действительно был отменный кулинар. На первый взгляд было не очень понятно, зачем усаживать гостей сначала на диван, а не сразу провожать к столу, который давно накрыт. В России, например, делали всегда именно так. Однако Гриша догадался, что это делается нарочно, чтобы подчеркнуть, что духовная пища важнее материальной – ведь не покушать сюда пришли гости, но пообщаться. Их проводят потом и к столу, дайте срок, но десять минут гостям полагается отбыть на диване, в некотором удалении от закусок. И чтобы

они смогли это вытерпеть, им подают сухой шерри и оливки. И насколько это тактичнее, чем принятый в России обычай, где гостей рассаживают, точно свиней у корыта – мол, лопайте, вы ведь затем и пришли. Нет, здесь пришли поговорить, обменяться мнениями, высказать убеждения, а это поважнее, чем еда. Свободная страна – и культура лишь подчеркивает эту свободу каждой деталью быта. Вот ты сидишь, свободный художник, положив ногу на ногу, и не торопишься наброситься на еду, – просто потягиваешь шерри, рассуждаешь о жизни. Гриша оказался рядом с журналисткой, бравшей у него интервью еще в аэропорту Тегель. Теперь на ней было платье с вырезом на груди, и стало видно, что она вовсе не мальчик. Она сказала, что это ее удовольствие – видеть Гришу опять, а Гриша, научившийся, как надо отвечать, сказал, что удовольствие целиком и полностью его, Гришино. Они даже поцеловались, как это принято в Европе меж знакомыми, то есть потерлись щеками – сначала левыми, а потом правыми. Человек, которого представили как барона, сказал Грише, что он не может ждать, когда же начнется беседа об искусстве, но едва Гриша собрался удовлетворить его прихоть, как понял, что это просто такое вежливое выражение, а на самом деле подождать барон прекрасно может. Барон, как объяснили Грише, возглавлял правление, или, как здесь выражались, «борд», музея. Этот барон решал, какие картины показывать, какие – нет, на какие выставки давать денег, а на какие – нет. Барон набрал полную горсть оливок и, нимало не опасаясь, что перебьет себе аппетит перед обедом, поглощал их одну за другой, как автомат.

– Где вы проводили август, барон? – спросил Оскар, и на лице его нарисовалась живейшая заинтересованность.

– На Корсике, – сказал барон, – только не на ее отельной части, не там, где понаставили все эти чертовы Хилтоны. Вы же знаете, Оскар, я терпеть не могу эту безликую буржуазную продукцию.

– Забываешь, в какой стране находишься, до того все одинаково, – с пониманием сказал Оскар, – лифт, портье, бар, завтрак – все то же самое от Норвегии до Гибралтара. Начинаешь думать, что и ты сам похож на соседа, как брат-близнец.

– Абсолютно верно. На Корсике этой гадости поменьше. Мы останавливаемся слева от Бонифацио, километрах в тридцати, у нашего приятеля там вилла. Знаете эти места? Вокруг простые крестьяне, можно купить молоко, сыр. Удобно иметь разумных друзей, которые строят дома в тихих местах. Они останавливаются у нас на Ибице, а мы у них на Корсике. Так уж повелось.

– Мудрое решение, барон. Мы с Юргеном ездим в Тоскану – заметьте, не в Лигурию, которая засижена туристами, как торт мухами, и не в Рим, и не на Капри, и не на Сицилию – а именно в Тоскану. Уверяю вас, это разумное решение итальянского вопроса. Вокруг – нетронутое натуральное хозяйство, при этом час на машине – и Ницца, час в другую сторону – и Портофино. Так что музыка и театр рядом – и никаких буржуа вокруг.

– О Господи, как мы с Терезой ненавидим туристов. Ненавидим.

– А вы где отдыхаете, Гриша? – спросил Юрген Фогель, чтобы включить Гузкина в предобеденный разговор.

– На Черном море, – сказал осведомленный в географии барон, – остались нетронутые цивилизацией места.

– В самом деле? – спросила его жена.

– Мы всегда ездим в Эстонию, в Пярну, – неизвестно зачем честно сказал Гриша. Ему показалось, что чистенький эстонский Пярну ничем не уронит его, – там можно у крестьян купить молоко и сыр, – сказал он барону.

– Это важно, – сказал барон, – это очень важно. Экология там хорошая?

– Хорошая, – сказал Гриша, борясь за Пярну.

– Это очень важно. Экология – это то, о чем так часто теперь забывают, – заметил барон, и все согласились с ним.

Оскар пригласил в столовую.

IV

Рассаживались согласно розовым карточкам с именами гостей, прислоненным к рюмкам. Карточка розового картона, на которой было написано «господин Гриша Гузкин», стояла в торце стола, Гришу усадили как почетного гостя. Справа сел барон, захрустел салфеткой, заткнул ее угол себе в проем пиджака, слева села журналистка, выложила салфетку на колени.

Принесли маленькую плошку с непонятной жидкой кашницей. Ее стали есть ложками и говорить, что это суп. Запили этот суп маленькой рюмкой шнапса, и Гриша тоже выпил шнапс и съел жидкую кашу. Потом принесли форель и поставили на стол несколько ведерок со льдом, а во льду стыли бутылки с белым вином. Съели форель и выпили вино, а тем временем разговор о летней поре отпусков сам собой иссяк. Барон рассказал, как на овечий сыр корсиканцы мажут варенье из инжира, запил рассказ белым вином, замолчал. Подали свинину с тушеной капустой, со смехом извиняясь за национальный характер еды, а Гриша сначала сказал, что в России готовят то же самое, а потом из вежливости добавил: только гораздо хуже.

Фогель-старший спросил, сохранилось ли в России блюдо его молодости – *borschtsch*?

– Ах, борщ, – спохватился Гриша, – по-моему, сохранился.

– Вы обязательно должны приготовить нам *borschtsch*! На Украине мы всегда ели *borschtsch*! – сказал Фогель-старший, а его сын, Юрген, подмигнул Грише: мол, гляди, как отец-то разошелся. И Гриша подмигнул в ответ: мол, отлично, весело шутит твой папа.

Барон, держащий конный завод, спросил, ездит ли Гриша верхом. Гриша ответил отрицательно. Помолчали.

– И в поло не играете? – уточнил барон.

– Плохо, – уклончиво сказал Гриша, недоумевая, что это за игра.

– А что вы больше любите кушать, – развивал застольный разговор барон, – мясо или рыбу?

– Мясо, – сказал Гриша, не очень-то задумываясь.

– Хм. Любопытно. Интересный ответ. Значит, мясо. Вот как. Слышишь, Тереза, он больше любит мясо. Хм.

– А вы что больше любите?

– Я? – барон опешил. Ему не представлялось возможным, что кто-то вернет ему вопрос. – Я? Мясо или рыбу? – он задумался.

– Ты чаще все-таки ешь рыбу, – пришла на подмогу баронесса.

– Да, – после тяжелого молчания согласился барон, – пожалуй, все-таки рыбу. Рыбу, да.

Помолчали, пережевывая капусту. Временами гости прерывали молчанье и интересовались друг у друга, как обстоит дело с их блюдом. Все ли в порядке? Вкусно ли? Поддается ли ножу и вилке? Пережевывается нормально? Могло сложиться впечатление, что повар в этом доме имеет обыкновение травить гостей и гости соблюдают осторожность. Скоро Гриша понял, что это просто правило хорошего тона, – надо поинтересоваться, вкусно ли твоему соседу, отвечает ли поданное блюдо принятым вкусовым стандартам: это такая необременительная форма заботы. Вежливым ответом ты должен удостоверить гармонию мира. Хороша ли капуста? О, потрясающая! О тебе позаботились, ты подтвердил, что все в порядке, – и обществу стало приятно. Гриша подумал, что этикет основан на некоторой неискренности. Что делать, если еда гадкая? Как быть? И в какое положение ты поставишь честным ответом соседа? Впрочем, люди воспитанные стараются радовать соседей рассказом о своей еде, и даже если стряется беда (допустим, котлету пересолили), так они стиснут зубы и промолчат. Гриша наклонился к журналистке и тоже проявил заботу.

– У вас все о'кей? – спросил он, слегка хмуря брови, как делали все присутствующие, справляясь о качестве пищи.

– О да, прекрасная свинина, – мило улыбнулась она, уже не похожая на мальчика. – А у вас как?

– О, великолепно. Давно не ел такой капусты.

– Как я рада.

Гриша подмечал, как себя ведут за столом люди просвещенные, воспитанные. Например, вилку с ножом по окончании трапезы укладывают рядом, и это знак прислуге, что тарелку можно унести. В Гришином детстве мама учила его, напротив, разворачивать вилку и нож в разные стороны, а здесь это означает, что ты еще кушаешь. Гриша увидел, что все косятся в его тарелку с удивлением: что ж он показывает, будто еда не закончена, если тарелка пуста. Незаметно он переложил вилку вдоль ножа, как у всех. Тут же налетела прислуга, сменила тарелку; подали другое блюдо. Странно, но этим блюдом оказался салат – Гриша привык, что салат подают до супа, а здесь им завершали еду. Переменили и вино: если с форелью пили белое рейнское, а со свининой бургундское, то под салат принесли другое красное, как позже выяснилось, бордо. Гриша краем глаза следил, какой именно прибор возьмет в руку сосед, чтобы есть салат, – около тарелок оставалось две почти одинаковые вилки. Сосед взял ту, что с тремя зубцами; Гриша тоже. Гриша обратил также внимание на то, как барон разливает вино: сначала сцеживает немного на дно бокала – и не затем, как уверял Пинкисевиц, чтобы выплеснуть себе кусочки пробки, если вдруг пробка раскрошилась (как же, раскрошится у них в Европе пробка!), а чтобы попробовать и сказать, хорошее ли вино, можно ли другим пить (будто у них плохое подадут!). Барон слегка крутил бокал в руке, взбалтывал вино, потом окунал туда нос и внюхивался, потом набирал в рот вина и держал его некоторое время во рту, не глотая. При этом лицо его приобретало сосредоточенное серьезное выражение. Наконец он глотал, еще секунды две прислушивался к организму: не произойдет ли чего непредвиденного, не подведет ли вино в последний момент, и, наконец, кивал прислуге – мол, можно пить, давай наливай. И все гости, что, затаив дыхание, наблюдали, как барон взбалтывает вино, набирает его в рот, смотрит в потолок, вздыхали с облегчением и возвращались к беседе.

– На здоровье! – сказал Оскар по-русски, выпивая вино.

– Вы говорите по-русски! – восхитился Гриша.

– Я все понемногу учил, знаете ли.

– У вас великолепный русский, – сказал вежливый Гриша.

– Збасьibo, – сказал Оскар, и воспитанный Гриша заметил:

– Вы говорите практически без акцента.

– У вас любопытный язык, – вернул ему комплимент Оскар, – я нахожу его интересным.

– Матушка Россия, – сказала жена барона с ударением на «у» в слове «матушка» и мило улыбнулась. И все ей тоже стали улыбаться, так мило она произнесла эти чужие слова.

– Великая культура, загадочная страна, – вежливо сказала журналистка.

– Но очень холодная, – уточнил старший Фогель, возвращая собеседников к реальности.

– О да. Очень холодная.

– Der Opa Frost.

– Ja-ja.

Тереза фон Майзель, баронесса, под села к Гузкину, поглядела в глаза, положила руку на его замшевый пиджак (первое приобретение Гузкина в свободном мире) и очень просто спросила:

– Как там, очень страшно?

– Очень, – так же просто ответил Гузкин. Он понимал, что баронесса имеет в виду жизнь в Советском Союзе, в России.

Баронесса глядела пристально ему в глаза, ясно было, что она ждет рассказа. Но что рассказать? Про то, как бабки под окном тянут веревку от столба до дерева, чтобы повесить стиранные простыни, про то, как мокрое белье шлепает на осеннем ветру, как сосед-таксист бьет жену головой о батарею, про дверь в подъезд, которая не закрывается, сколько ее ни чини. Разве расскажешь? Про отлипшие от бетонной стены желтые обои, про сколотый кафель на кухне, про блочные стены толщиной в детскую ладонь, про то, как ты ночью слышишь храп соседа? И расскажешь, так не поймут. Что, Брежнев его угнетал? Угнетала никогда не просыхающая лужа перед парадным, лужа, которая пережила его родителей и – он хорошо знал – переживет его тоже. Гроб будут выносить и уронят в эту лужу, думал он. Неужели дыру в асфальте трудно заделать? Почему всегда – лужа? Подсыхает летом, расползается в грязную кашу осенью, ну почему всегда на том же самом месте? Почему сосед-таксист, проходя мимо их двери, с размаху бьет в нее ногой и почему он, Гузкин, боится выйти и накричать на него? Мы здесь живем, объяснял он жене, имеет ли смысл настраивать их против себя? Почему всегда в туалете течет бачок? Ну почему? И при чем здесь Брежнев? Он, что ли, бачки ломает? Он лужу перед домом налил? Можно подумать, канцлер Коль тут в Германии ремонтирует клозеты и чинит асфальт. Вот это как раз, по-видимому, то, что и имел в виду Кузин, когда говорил о различии цивилизации и варварства – а разве это передашь в одном разговоре? Как им объяснишь, что судьба, жизнь, биография – все болит?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.